

Зайцев Борис

Голубая звезда

Борис Зайцев

Голубая звезда

I

В комнате Христофорова, в мансарде старого деревянного дома на Молчановке, было полусветло - теми майскими сумерками, что наполняют жилище розовым отсветом зари, зеленоватым рефлексом распустившегося тополя и дают прозрачную мглу, называемую весной.

Перед зеркалом, запотевшим слегка от самовара, Христофоров оправлял галстук. Он был уже в сюртучке, довольно поношенном,- собирался выходить. Голубоватые глаза глядели на него, порядочная шевелюра, висячие усы над мягкой бородкой. Он поправил узел галстука, завязывать которого не умел, улыбнулся и подумал: "Чем не жених?" Он даже ус немного под крутил .

Затем взял ветку цветущей черемухи - она лежала на столе,- понюхал. Глаза его сразу расширились, приняли странное, как бы отсутствующее выражение. Он вздохнул, надел шляпу, пальто и по скрипучей лесенке спустился вниз. Пересек большой двор - здесь на травке играли дети, у каретного кучера запрягал пролетку,- быстрым, легким шагом зашагал к Никитскому бульвару.

В Москве сезон кончался. Христофоров шел на небольшой прощальный вечер в пользу русских художников в Париже; его устраивала московская барыня из тех, чьи доходы обильны, автомобили быстры, туалеты не плохи. Христофоров мало знал ее. Лишь недавно встретил у знакомых своих, Вернадских; и тоже получил приглашение.

Дом Колесниковой ничем особо не выделялся - двухэтажный особняк в переулке, с лакеем в белых перчатках, с чучелом тигра на повороте лестницы: лестница хороша тем, что рядом с перилами шла кайма живых цветов в ящиках и кадках. Колесникова встретила его в зале, где люстры уже сияли, были расставлены стулья и стояла эстрада для чтецов, музыкантов. Хозяйка - дама худая, угловатая и не вполне в себе уверенная; ей хотелось, чтобы все было "как следует", но неизвестным представлялось, удастся ли это. И, пожалуй, ее осудит острословка Сима, миллионерша первоклассная и меценатка.

- Ах, вы сюда, пожалуйста,- сказала она Христофорову, указывая на гостиную, за эстрадой.- Пойдемте, там и ваши знакомые есть...

Колесникова провела его в гостиную, где густо стояла мягкая мебель, без толку висели картины, горело много света и сидели нарядные дамы, Христофоров слегка смущился. Ему именно показалось, что никого он тут не знает, но он ошибался: сделав общий поклон, тотчас заметил он в углу Вернадских - Машуру и Наталью Григорьевну. Наталья Григорьевна, представительная дама, седая, разговаривала с высокой брюнеткой в большом декольте. Машура молчала. Она была в белом с красной розой на груди - тоненькая, с не совсем правильным, остроугольным лицом; почти черные глаза ее блестели, казались огромными.

Увидев Христофорова, она улыбнулась. Наталья Григорьевна подняла на него свои светлые, несколько выцветшие глаза. Он подошел к ним.

_ А я думала,- сказала она, протягивая руку,- что вы не соберетесь. Значит, и вы пустились в свет. С вашим-то затворничеством туда же...

Она засмеялась.

- Вы знаете,- обратилась она к соседке,- Алексей Петрович одно время проповедовал полное удаление от мира. как бы сказать, полумонашеское состояние.

Соседка взглянула на него и холодновато ответила:

- Вот как!

Их познакомили. Она называлась Анна Дмитриевна. Христофоров сел на край кресла и сказал:

- Одно время действительно я жил очень замкнуто. Но теперь - нет. Вы знаете, Наталья Григорьевна, эту весну я, напротив, даже много выезжал.

Анна Дмитриевна вдруг засмеялась.

- Отчего вы так странно говорите? Точно...- Она продолжала смеяться.- Простите, но мне показалось... как- то по-детски...

Христофоров слегка покраснел.

- Я не знаю,- сказал он и обвел всех глазами.- Я, может быть... не совсем так выражаясь.

- Не понимаю, как это надо особенно выражаться...- Машура тоже вспыхнула. Глаза ее блеснули.

Анна Дмитриевна слегка откинулась на кресле.

-- Виновата. Кажется, я просто сболтнула.

- Алексей Петрович говорит, - сказала Машура, сильно покраснев, так, как НУЖНО, то есть какой он есть. Его учить незачем.

Наталья Григорьевна засмеялась.

-- Вот и неожиданно разговор принял воинственный характер. Она была в черном платье, с большим бантом у подбородка. В ее седых, хорошо уложенных волосах, в очках, в дорогом кольце, духах - ощущалось прочное, то, что называется *distingui*'. Глядя на нее, можно было почувствовать, что она прожила жизнь длинную и честную, где не было ни ошибок, ни падений, но работа, долг, культура. Она много переводила с английского. Писала о литературе. Дружила с Анатолем Франсом.

Разговор пресекся. Вечер же начался. Певица пела. Беллетрист с профилем шахматного коня, во фраке, скучно бормотал свою меланхолическую вещь. Приехал актер, знаменитый голосом, фигурой и фраком. Он ловко заложил руки в карманы, слегка дрыгнул ногой, чтоб поправить складку на Делосовых брюках, и, опервшись на камин, сразу почувствовал, что все в порядке, все его знают и любят.

Христофоров наклонился к Машуре и спросил:

- Я не вижу Антона. Его нет здесь? Машура несколько закусила губу.

- И не будет.

Актер вышел, читал Блока. В дверь виднелась его сухая, крепкая спина, светлая шевелюра, а дальше, в зрительном зале, все полно было сиянием люстр, белели туалеты дам, отсвечивало золото канделябр и кресел. Когда начали аплодировать, Машура сказала:

- Вы же знаете его. Вдруг рассердился, сказал, что к таким, как Колесникова, не ходят, одним словом, как всегда. Она вздохнула.

- Я ответила, что со мной так нельзя разговаривать. Он ушел, не простился. А я, конечно, отправилась. Да,- прибавила она и улыбнулась,- я совершила еще маленькое преступление: занесла вам ветку черемухи.

Христофоров засмеялся и чуть смущился.

- Я очень рад, что вы...

- Какой у вас странный домик! Мне отворила квартирная хозяйка, старушка старомодная, в шали, там в комнатах киоты, лампадки, половички по крашеному полу. Когда я подымалась к вам по лесенке, на перилах сидел кот... Правда, похоже на келью.

- Я люблю тихие места. Да потом, это мне и по средствам. Ведь вот тут,- он с улыбкой оглянулся,- здесь, вероятно, человек, снимающий в передней пальто, богаче меня.

Машура взглянула на него ласковыми темными глазами.

- Было бы очень странно, если б вы были богаты. Мимо них прошла Колесникова, обмахиваясь веером. Она благодарила знаменитого актера, слегка наклоняясь к нему угловатой, худой фигурой.

- Если б Антон узнал, что я у вас была,- продолжала Машура,- он бы меня знает как назвал...

Она опять покраснела от недовольства.

Христофоров смотрел куда-то вдаль, в одну точку. Голубые глаза его расширились.

Изыщное, изысканное, благородное (франц.).

321

- Я иногда гляжу на Антона,- сказал он,- и думаю: он не скоро уговорится. Машура вздохнула.

Начался последний номер - мелодекламация - то, что любят в провинции. Виолончель тянула свои, якобы поэтические, фиоритуры; актриса в тысячном белом платье бросала в публику фразы, затем изображала нежность, умиление, вновь рокотала. Все это имело успех.

После актрисы публика стала разъезжаться. Свои остались. Свои делились на две части: участники и знакомые. Их пригласили ужинать. В один конец сажали актеров, писателей, лиц с именами. Там и вино стояло получше. Родственники и знакомые занимали другой фланг. Христофоров, Вернадские и Анна Дмитриевна оказались в середине, на водоразделе титулованных и разночинцев. Христофоров присматривался с любопытством. Когда нынче он говорил, что стал выезжать, это было верно лишь отчасти, в сравнении с прежней его жизнью - в деревне, в тихих провинциальных городах, где приходилось ему работать и в земстве, и давать уроки, жить вообще жизнью более чем скромной. Часть же этой зимы он провел в Москве, получив временную работу. И видел народа больше; но совсем, все же, не знал того круга, который здесь собирался.

Против него сидела Анна Дмитриевна. С ней рядом офицер генерального штаба, которого он заметил еще на концерте: человек высокий, сухощавый, стриженный бобриком, с нездоровым цветом лица и темными, без блеска глазами. И он, и Анна Дмитриевна много пили. Она смеялась. Он же был сдержан. Вино, казалось, на него не действовало.

Христофоров спросил о нем Наталью Григорьевну. Та поморщилась.

- Говорят, из хорошей семьи, и вначале подавал надежды. Но потом какая-то темная история по службе... Его фамилия Никодимов. Нет, не моего романа. Ведет предосудительную жизнь. Настоящий... - она засмеялась. - Un deprave¹. Не понимаю Анну Дмитриевну.

И, видимо не желая продолжать, она свела разговор на то, о чем порядочные люди в Москве говорят каждый апрель и каждый май: кто куда едет на лето. Христофоров узнал, что нынче они будут под Звенигородом, сняли имение, что там красиво, тихо, хотя есть и соседи - Анна Дмитриевна, например. Тут же она добавила, что есть свободная комната: будет отлично, если он к ним приедет - лучше бы надолго.

1 Развратник (франц.).

Христофоров благодарил. О лете совсем он не думал, считал, что само как-нибудь выйдет, как и все почти в жизни. Но сейчас ему было приятно, что именно Вернадские его зовут. Много раз уже, в его бродяжной, нескрепленной жизни, приходилось ему гостить и жить у разных людей. Он знал, как берут свой чемоданчик и являются под благосклонный кров. Но кров Вернадских был особенно приятен.

Было два, когда Христофоров выходил из подъезда. Вернадские уже уехали. Вслед за ними вышли Анна Дмитриевна, Никодимов и еще целая компания. Автомобиль ждал их. Ехали за город, встречать рассвет. Когда Христофоров шагал уже по переулку, машина, тяжело шурша, обогнала его.

- Прощайте! - крикнула Анна Дмитриевна. - Дитя, не сердитесь!

Он снял шляпу и помахал. Автомобиль умчался. Христофоров шел с непокрытой головой. Ночь была синяя, прозрачная и теплая. На востоке светло. Там виднелась крупная, играющая звезда. Христофоров поднял голову. И тотчас увидел голубую Вегу, прямо над головой. Он не удивился. Он знал, что стоит ему поднять голову, и Вега будет над ним. Он долго шел, всматриваясь в нее, не надевая шляпы.

II

В дни начала июня дом Вернадских принял тот вид, какой имеют многие дома с наступлением лета: мебель в чехлах, гардины уbraneы, портреты, картины на стенах затянуты кисеей. Это значит, что Машура с Натальей Григорьевной после долгой, сложной уборки выехали наконец на Брестский вокзал, и в купе первого класса, сдав многочисленный багаж, катят мимо разных Кунцевых и Филей к станции, откуда извозчичья коляска отвезет их в новое летнее пристанище.

Дорога на лошадях приятна и разнообразна; небогатые нивы, леса, иногда хвойные: зажиточные села с хорошими избами; много шоссе; есть старинные, знаменитые подмосковные с парками и прудами - к ним ведут иногда березовые аллеи; в селах новые школы, столбы на перекрестках с надписями о дорогах те мелочи, что говорят о некой просвещенности.

Вечерело. Из-за поворота в лесу вдруг открылся вид на Москву-реку, луга и далекий Звенигород. В густой зелени горела золотая глава монастыря. Закатным светом, легкой, голубеющей дымкой был одет пейзаж. Коляска взяла влево, песчаным берегом; лошади

перешли в шаг. Подплывал паром. Кулик летел над водой.

- Здесь очень хорошо,-сказала Наталья Григорьевна.- Мне очень нравится.

- Да.

Машура не была нынче разговорчива. Она несколько устала. На побледневшем лице глаза казались еще темнее.

- Обрати внимание на эти луга. Прямо с нашей террасы откроется вид на много верст. И потом, здесь чрезвычайно здоровый климат.

Наталью Григорьевну, приемную свою мать, Машура очень

уважала. Тут была и любовь: но с детства любовь поставили так, что бурно выражаться, в нежности, она не могла. И иногда Машу-ре хотелось, как и сейчас, чтобы мать немного была менее основательна, спокойна. "Свежий воздух, климат, полезно",- слова мелькали в ее мозгу, ничего не говоря. Ей все равно было, полезна жизнь здесь или нет.

На заре въехали в старую усадьбу, бывшую вотчину Годуновых,- уже смеркалось. Огромный деревянный дом казался мрачным; мебели было мало. В зале с поскрипывавшим паркетом, за круглым столом они ужинали при свечах. Свежие редиски с маслом казались вкусны; на свечи летели ночные бабочки, в углах было полутемно. Заря из темно-красной переходила в холодноватую мглу. Будто жутко стало Машуре - нежилое, ветхое надо обогреть, прежде чем станет своим. Все же, поужинав, она спустилась в сад. Росла тут трава, кое-где цветы, какие кому вздумается. Такие же и дорожки: будто их никто и не делал, пролегли они, как Бог на душу положит. За садом канава в березах, а там луга. Машура вышла в них. Было росисто. Над Москвой- рекой стоял туман, деревня смутно темнела. Там наигрывали на гармонике. Машура не знала, хорошо ей сейчас или плохо. Новое место, новые луга, усадьба, неизвестные ели высятся там, правее. Завтра взойдет солнце, и новые места откроют новую свою, дневную душу.

"Вот Алексей Петрович сразу понял бы тут все,- вдруг подумала она.-Почему Алексей Петрович? А про него сказал один знакомый: "В нем есть священный идиотизм".- Она засмеялась.- Ну, это пустяки! Вовсе не идиотизм, а что он немного фантастический, это верно".

В доме два окна светились. Одно распахнулось, и голос Натальи Григорьевны, не очень громко, но как раз, чтобы слышно было, крикнул:

- Машура! Пора домой.

- Иду-у!

С детства Машура знала, что она Наталье Григорьевне подчиняется. С детства порядок и серьезность внушались ей, хоть не всегда успешно.

Прибредя домой, она прошла в комнату матери. Наталья Григорьевна в чепце, очках и безукоризненном белье лежала в постели и читала роман друга своего, Франса. Машура поцеловала ей руку.

- Ты все бродишь,- сказала Наталья Григорьевна, - пора бы и ложиться. Завтра тебя не подымешь.

- Нет, милая мама, подымете, когда понадобится.

-- Мне не понадобится, но для твоей же пользы. Машура раздевалась в комнате рядом. Уже

заплетая косы, дунув на свечу, чтобы ложиться, она спросила из темноты:

- Мама, а тут не страшно?

Не отрываясь от чтения, Наталья Григорьевна ответила:

-- Нет.

324

Машура перекрестилась, натянула одеяло на худенькое плечо и опять спросила:

- Антон не говорил, когда приедет?

- Разве можно придавать значение его словам? Сказал, что не скоро.

- И очень буду рада,- холодно ответила Машура.

"Конечно,- думала Наталья Григорьевна уже в темноте,- эти взаимные qui pro quo' и пертурбации необходимы. Все же характер Антона..." Она вздохнула и вспомнила об Анатоле Франсе. Вот где культура, порядок, уравновешенность! Тут ей представилось, что трудное слово культура можно по-новому определить. Старческой рукой зажгла она вновь свечку и, надев очки, записала в книжечку афоризмов и наблюдений: "Культура есть стремление к гармонии. Культура - это порядок". Записью она осталась довольна и спокойно отошла ко снам.

Хотя с вечера голова немного ныла, Машура хорошо спала, встала в добром настроении. Надела белую матерчатую шляпу, добыла лопату, скребок и к запущенному саду стала применять то, что ночью мать назвала культурой. Чистила дорожки, вскопала клумбу. Наталья Григорьевна поощряла такие дела, находя, что общение с землей полезно для молодежи: укрепляет тело, облагораживает душу.

Сама она занялась домом; надо было и его подтянуть. Наталья Григорьевна не хлопотала и не сутилась; она действовала. Под ее умелым водительством переставили мебель; что нужно - добавили; появились скатерти на столах, на окнах портьеры, букеты сирени в вазах. Было разобрано белье. Платье развесили по шкафам.

Перед завтраком, когда меньше всего о нем думали, вкатил на велосипеде Антон. Он был в каскетке, поношенной летней паре, запыленный. Пот катился со лба. Поставив велосипед, он снял фуражку и отер разгоряченное лицо. Антон несколько сутулился, но стоял твердо на коротковатых ногах. Он был некрасив - с широким лбом, небольшими глазами, сидевшими глубоко: не украшал его и нечистый цвет лица - что-то непородистое, тяжеловатой выделки в нем чувствовалось. Отец Антона был дьячок.

- Насилу вас нашел- сказал он Наталье Григорьевне, здороваясь.- А, и Машура занялась хозяйством. Дело. Машура подошла и просто ему улыбнулась.

- Как видишь.

- А я, извини меня, ведь нынче тебя и не ждала,- сказала Наталья Григорьевна.

- Имели полное основание. Я не хотел приезжать, но потом передумал... - Он вдруг густо покраснел и как будто на себя рассердился. Да, а потом приехал.

Позвали завтракать. Завтрак был умеренный, свежий и вегетарианский, во вкусе дома.

Упреки в ошибках, недоразумения. Букв.: одно вместо другого (лат.). 325

- А,- сказал Антон улыбнувшись,- у вас все то же, овощи, спасение души...

- Нет, не спасение,- ответила Наталья Григорьевна,- а просто нахожу это здоровым.

Антон давно бывал у них, еще вихрастым гимназистом, когда вместе с Машурой состоял старостой гимназического клуба. Уже тогда он был серьеzen, головаст, давал уроки, помогая матери, и стремился на физико-математический факультет. Но и теперь, считаясь женихом Машуры, изучая интегральное исчисление,- целиком не мог привыкнуть к дому Вернадских. Что-то его удерживало. Он уважал Наталью Григорьевну, но ненавидел Анатоля Франса, бельевые шкафы в их доме, дворню, сундуки и порядок, олицетворением которого считал хозяйку. Кроме того, ему казалось, что он плебей, *parvenu*¹. Он, вероятно, не прощал Наталье Григорьевне ее барства.

И теперь, когда она говорила о профессорах, университете, его будущей работе, ему казалось, что это все - приличия, чтобы его занять и выказать внимание.

После завтрака Антон прилег в гостиной на диване. Обычные, очень частые мысли проходили в его мозгу. Казалось, что его не ценят; Наталья Григорьевна недовольна, что он близок к их дому;

даже Машура его не понимает. Что именно в нем понимать - он затруднился бы сказать, но что он существо особенное - в этом Антон был уверен.

Однако он заснул самым крепким и негениальным образом и проспал часа два. Проснувшись, зевнул и встал. В доме было тихо - чувствовалось, что никого нет, пахло сиренью от букетов, чуть навевал ветерок из балконной двери; шмель гудел; в бледных перламутровых облаках стояло солнце - неяркое и невысокое. Антон вдруг улыбнулся, сам не зная почему. Захотелось видеть Машуру; он не знал, где она; просто вышел в сад, взял направо, прыгнул через канаву и направился к недалекому лесу. Пахло лугами;

откуда-то доносились голоса; будто телега поскрипывала. У опушки леса виднелось белое платье.

Лес был - ельник; тропинка выводила к обрыву над речкой, притоком Москвы-реки. Песчаный скат шел к воде, в нем стрижи устраивали ямки, и торчали корни сосны. Машура босиком, слегка подоткнув юбку, стояла по щиколку в воде и подымала камни. Иногда рак оказывался там. Она хватала его под мышки и бросала в лукошко с крапивой.

Антон сел на обрыв, спустив вниз ноги.

- Ты устраиваешь деревенскую идиллию? Машура подняла на него лицо, трепещущее оживлением, весело ответила:

- Раков ловлю.

¹ Парвеню - высокочка, человек незнатного происхождения, пробившийся в аристократическое общество и подражающий аристократам (франц.).

326

- А я заснул, проснулся и не могу понять, где я.

- Ложись опять. Ты утром был хмурый. А сейчас какой? Антон усмехнулся.

- А сейчас я, кажется, приличен.

Он лег недалеко от обрыва на мелкие, сухие хвои. Справа даль голубела, шли луга, виднелся

Звенигород. Слева темной чащей стояли елки на пустынной, иглами усеянной земле. Там было мрачно. С лугов же тянуло теплом, благоуханием, какое-то благорастворение было в этом месте. Внизу видел Антон излучину речки, с настоящей, темно-коричневой водой, где голыми, покрасневшими ногами действовала Машура. Ему было очень покойно тут.

Позанявшись своей забавой, пришла Машура, натянула чулки, села рядом. Он положил голову ей на колени. Ее руки пахли водой, раками, водорослями. Она гладила ему волосы и говорила:

- Хорошо, что сейчас ты милый, и ты правда мой милый, такой Антон, как надо быть. Настоящий мой жених. А когда не настоящий, я тоже знаю. И не люблю.

Антон слегка фукнул.

- Белым-то нас всякий полюбит. Ты полюби черным.

- Что ж, и черным...

- Всяким?

- Всяким...

Машура задумалась, по ее худому, нервному лицу прошло как бы напряжение.

- Но и я не все понимаю, иногда мне кажется, что между нами, мною и тобой, уже роковое, судьбой назначенное, как знаю я тебя почти ребенком. А иногда думаю: навсегда ли?

- Скажи,- спросил он вдруг,- правда, что этот... Христофоров к вам приедет?

- Да, хотел. Почему ты спрашиваешь?

- Нет, ничего. Просто вспомнил.

Он взял Машурину руку, поцеловал в ладонь и долго рассматривал.

- Мне всегда нравилась твоя рука. Пальцы длинные, тонкие. Он вздохнул и сказал уже несколько иным тоном:

- Белая кость!

Машура опять задумалась.

- А что, если я очень легкомысленная? - вдруг спросила она.- Ты меня невестой считаешь... Он вспыхнул.

- И перестал бы считать, если б...- Он не договорил. Некоторое время они молчали. Что-то тяжелое переливалось в Антоне. Видимо, он себя сдерживал.

- Удивляюсь,- сказал он наконец,- если ты меня действительно любишь, почему же такие мысли... Тут, как будто, Машура смущалась.

- Ах, это, конечно, чепуху я говорю.

Когда они шли домой, Антон вдруг сказал ей, просто и глохо:

327

- А я думаю, что один человек уже тебе нравится. Машура высунула ему кончик языка,

фыркнула и, подобрав платье, помчалась к саду.

Дома ждал самовар, чай с очень белыми сливками, Наталья Григорьевна. А в сумерках еще малое событие произошло в усадьбе, бывшей вотчине Годунова: на паре лошадей, в тележке, с мужиком на козлах подкатил голубоглазый Христофоров. Он был в широкополой шляпе, синей рубашке, на которую надел ветхое летнее пальто; усы свешивались вниз, глаза глядели обычно приветливо, по-детски. Назвав мужика "вы, кучер", заплатив, Христофоров, слегка запыленный, с небольшим чемоданчиком, другом бродячей жизни, предстал Антону, Машуре и Наталье Григорьевне.

III

Христофоров, как ему и полагалось, занял низенький мезонин. Здесь быстро он освоился, вынул вещи, разложил книжки; цветы в вазочке появились на столе, и нечто от Христофорова сразу определилось в его жилище. Было оно в этих цветах, в снимке боттичеллиевской Весны на стене, в книгах, чемоданчике, в штиблетах на ластике, выглядывавших из угла комнаты.

В жизнь дома он вошел удобной частью; был незаметен, нешумлив, неутомляющ; гулял иногда с Машурой и Антоном. С Натальей Григорьевной мог поговорить о Шатобриане.

Антон чувствовал себя с ним неровно. Что-то в Христофорове ему не нравилось, почти раздражало. Не любя кого-нибудь, он обычно - резко задирал. Задирать Христофорова было нелегко, за полной его нечувствительностью. Быть добрым и простым - тоже не выходило. Антона злило спокойствие, как бы безоблачность этого человека.

- Я знаю,- говорил он Машуре, раздраженно,- что он у червяка попросит извинения, если наступит. Люди, которые всегда, во всем правы! Невыносимо!

Машура смотрела на него с усмешкой.

-- Ты бы лучше хотел, чтобы он всегда был не прав?

- Не подумай, пожалуйста, что я чрезмерно им интересуюсь,- сказал Антон, подозрительно.- Мне, в сущности, до него очень мало дела.

- Я ничего не думаю,- ответила Машура,- но ты к нему несправедлив.

- Ну, конечно, я во всем виноват!

Антон вспыхнул, и разговор прервался.

Иногда он садился на велосипед и уезжал на станцию, оттуда с поездом в город. Без него в доме сразу становилось тише, иногда Машура ловила себя даже на том, что несколько она отдыхает;

легче нервам. Это было отчасти и нехорошо; ее изумляли отношения с ним. Уже давно привыкла она считать его своим, и себя

328

принадлежащей ему. Тогда откуда же эта неловкость? Как бы затрудненность в чувствах? "У него нелегкий характер,- решила она, стараясь себя успокоить.- Но, конечно, я должна его поддерживать".

Странным казалось ей то, что с Христофоровым ей было легче, свободнее, хотя понимала она его еще менее, чем Антона. Иногда, ложась спать, она улыбалась в темноте: "Он

странный, но страшно милый. И страшно настоящий, хотя и странный".

Случалось ей видеть, как в знойный полдень подолгу он сидел над гусеницей, ползшей по листу; без шляпы бродил по саду, с расширенными зрачками. Обедая на балконе, внимательно наблюдал, куда летит горлинка, точно ему это требовалось. И с той же внимательностью, нежностью переводил взгляд на Машуру.

- Вам все нужно, все нужны? - улыбаясь, спрашивала Машура.

Он отвечал спокойно и приветливо:

- Я люблю ведь это... все живое.

В мезонине у него была подвижная карта неба. На каждый день он мог определить положение звезд. Вечерами очень часто выходил в сад, всматривался в небо, как бы сверяясь, все ли на местах в его хозяйстве.

Это заметила и Наталья Григорьевна.

- У вас со звездами какие-то особые отношения,- сказала она раз шутливо.

- Дружественные,- ответил Христофоров так серьезно, будто правда звезды были его личными знакомыми.

Однажды вечером они сидели с Машурой на террасе. Христофоров был как-то тих и задумчив весь этот день.

- Когда же Антон вернется? - спросил он. Машура сдержанно ответила:

- Не знаю. Он помолчал.

- Мне кажется, он не особенно хорошо себя чувствует. Машура слегка вздохнула и спросила:

- А как вы себя чувствуете?

- Я - отлично,- тихо ответил Христофоров.- У вас здесь мне очень хорошо. Но думаю все же, не долго тут пробуду.

С лугов тянуло сыростью и сладкой свежестью. Москва- река туманилась.

- Почему не долго?

- Знаете,- сказал Христофоров,- мне всегда приходится кочевать. То тут, то там. У меня нет так называемого гнезда. Кроме того, что-то смущает меня здесь.

- Как странно... Что же может вас смущать? - спросила Машура с качалки, слегка изменившимся голосом. Христофоров опять ответил не сразу.

- Не могу объяснить, но мне кажется, что я не должен жить у вас.

329

- Ну, это глупости!

Машура привстала, явное неудовольствие можно было в ней прочесть. Даже глаза нервно заблескали.

- Вы все выдумываете, все разные фантазии.

Расширив зрачки, Христофоров смотрел вдаль, не отрываясь.

- Нет, я ничего не выдумываю.

Машура подошла к нему, взглянула прямо в лицо. Его глаза как будто фосфорически блестели.

- Нет, правда,- тихо спросила она,- что вас смущает? Христофоров взял ее руку и молча пожал. Машура сбежала в цветник, остановилась.

- Это что за звезда? - спросила она громко.- Вон там? Голубоватая?

- Вега,- ответил Христофоров.

- А!..- протянула она безразлично и пошла в глубь сада. Сделав небольшой тур, вернулась.

Христофоров стоял у входа, прислонившись к колонне.

- В вас есть сейчас отблеск ночи,- сказал он,- всех ароматов, очарований... Может быть, вы и сами звезда, или Ночь... Машура близко подошла к нему и улыбнулась ласково.

- Вы немного... безумный,- сказала она и направилась в дом. С порога обернулась и прибавила:

- Но, может быть, это и хорошо.

Машура не скрывала - она тоже была взволнована. Весь этот разговор был неожидан, и так странен...

Она пробовала читать на ночь, но не читалось. Спать - тоже не спалось. За стеной мирно почивала Наталья Григорьевна. В комнате было смутно; ветерок набегал из окна. С лугов слышен был коростель. Долетали запахи, тайные вздохи ночи. Машура ворочалась.

Около часу она встала, накинула капот. Ей хотелось двигаться. Прислушиваясь к мерному, негромкому храпению за стеной, она с улыбкой подумала: "Ни к чему, оказывается, доброе мамине воспитание!" Все же выходила потихоньку, чтобы ее не разбудить,- не через балкон, а с другой стороны, где был подъезд. Тут росли старые ели. Среди них шла аллея, по которой подъезжали к дому. Машура направилась по ней. Было очень темно, лишь над головой, сквозь густые лапы дерев, мелькали звезды. Над скамейкой, влево, светился огонек папиросы. Машура быстро прошла мимо, среди тьмы парка, к калитке, выходившей в поле. Тут стало светлее. Вилась дорога; побледневшие перед рассветом поля тянулись. Отсюда завтра должен был приехать Антон. Машура оперлась на изгородь, смотрела вдаль.

Сзади послышались шаги. Она обернулась. Это подходил Христофоров. Папиросу он держал в руке, несколько впереди себя.

- А я и не сообразил, что это вы,- сказал он, тихо улыб- нувшись.

- Ночь проходит, еще час, будет светать, - ответила Машура.

330

- Почему вы нынче спросили о звезде Веге? - вдруг сказал Христофоров.

Машура обернулась.

- Просто... спросила. Она бросилась мне в глаза. А это что, важно?

Христофоров не сразу ответил. Потом все-таки сказал:

- Это моя звезда. Машура улыбнулась.

- Я и не отнимаю ее. Христофоров тоже усмехнулся.

- Значит,- продолжала Машура,- мама права, когда говорит, что со звездами вы лично знакомы.

- Не смейтесь,- ответил Христофоров.- Лучше поглядите на нее. К счастью, и сейчас еще она видна. Вглядитесь в ее голубоватый, очаровательный и таинственный свет... Быть может, вы узнаете в нем и частицу своей души.

Машура молча смотрела.

- Я не смеюсь. Правда, звезда прелестная. А почему она ваша?

Но Христофоров не ответил. Он показал ей Сатурна, висевшего над горизонтом; остро-колючего Скорпиона; Кассиопею - вечную спутницу неба, крест Лебедя.

Когда они возвращались, светлело и под елями.

Жаворонок запел в полях. Далеко, в Звенигороде, звонили к заутрени.

Христофоров напомнил, что давно уж они собирались сходить в монастырь - старинное, знаменитое место.

- Да, хорошо,- ответила Машура.- Пойдем. Вот Антон приедет.

Она была рассеяна. Спать легла с еще более странным чувством. Ночь без сна, разговоры с Христофоровым, волнение. Нет, тут что-то есть, почти против Антона. Она очень устала. Засыпая, подумала: "Если бы я рассказала ему, он бы страшно рассердился. И если бы он был тут... ну, какие глупости... ведь я же ничего против него не сделала".

С этим она заснула.

Антон приехал утром, по той самой дороге, откуда она его ждала, на том же велосипеде. Машура была с ним ласкова - задумчивой, подчеркнутой ласковостью. Но о прогулке с Христофоровым не сказала.

IV

В монастырь собирались через несколько дней. Прежде Антон сам предлагал сходить туда, но теперь возражал; и в конце концов - тоже отправился.

Они вышли утром, при милой, светло-солнечной погоде. Дорога их-лугами, недалеко от Москвы-реки, мелким своим течением, изгибами, ленью красящей здешний край. Берега ее заросли лозняком; стадо дремлет в горячий полдень; легкой рябью тянется песок, белый и жгучий; у воды пробегают кулики, подрагивая хвостиками. Дачницы идут с простынями, выбирая место для купанья. На песке голые мальчишки.

Вдали лес засинел над Звенигородом; раскинулся по холму сам городок, и древний собор его белеет. Домики серые и красные, под зелеными крышами, среди садов, вблизи монастыря, глядящего золотыми главами из дубов. Старый, маленький город. Красивый издали, беспорядочный, растущий как Бог на душу положит; освя- щенный древнею, благочестивою культурой.

Было далеко за полдень, когда Машура и Антон с Христофоровым подымались к монастырю.

Путь извивался; налево крутое взгорье, с редкими соснами и дубами; на вершине стена монастыря, ворота, купола, церкви - как в сказках; направо - дубовый лес. Несколько поворотов - взобрались, наконец; монастырская гостиница. Двухэтажный дом, со старинными, стеклянными сенцами, с половичком на крашеной лестнице, длинным коридором с несвежим запахом все то, что напоминает давние времена, детство, постоянные дворы в провинции, долгие путешествия на лошадях.

Заняли комнату с белыми занавесочками, портретами архиереев и архимандритов. Обедали на свежем воздухе; в тени дубов, за врытым в землю деревянным столиком; внизу виднелась речка, поля и заросшие лесом холмы. Тянуло прохладой. Монах медленно подавал блюда.

Антон был хмур.

- Собственно,- сказал он,- я не совсем понимаю, зачем мы здесь. Самый обыкновенный монастырь.
- Ты сам говорил, что здесь очень хорошо,- ответила Машура.
- Хм! Когда я это говорил? И в каком смысле? Машура не возражала.
- А мне очень нравится,- сказал Христофоров, обтирая усы.- Между прочим, не посмотреть ли сейчас, после обеда, собор, там в городе...

Антон заявил, что идти сейчас никуда не намерен, тем более "тащиться по жаре Бог знает куда".

Христофоров было отказался, но Машура решила, что непременно пойдет. Темные глаза ее засияли, прониклись трепетом и раздражением. Антон сказал, что ляжет спать. Пусть они гуляют.

- Все ведь это нарочно, все нарочно,- говорила Машура через полчаса, идя с Христофоровым.- Ах, я его знаю! Христофоров как-то стеснялся.
- Может быть, мы напрасно идем.
- Я иду,-- холодно ответила Машура,- посмотреть старинный собор. Мне это интересно.

Собор стоял выше города, на площадке, окаймленной лесом, -белый, древне-простой, небольшой, с нехитрой звонницей рядом.

332

Машура с Христофоровым сели в тени, на ветхую лавочку. Вниз тянулся Звенигород. Москва-река вилась; далеко за лугами, в лесу, белел дом с колоннами.

- Удельный город,- говорил Христофоров.- Эти места видали древних князей и татар, поляков, моления, войну... Сама история.
- Здесь очень хорошо,- сказала Машура.- Смотрите, какой лес сзади!

Площадка опоясывалась каким-то валом - похоже, остатками старинных укреплений. За ними лес стоял, густой, смолистый, верно, не раз сменявшийся со временем св. Саввы. Тянуло свежим, очаровательным его благоуханием.

- Времена Петра прошли тут незаметно,- продолжал Христофоров.- Потом Екатерина, помещики. Этот край весь в подмосковных. Знаменитое Архангельское недалеко. И другие. Жизнь отвернула новую страницу, новый след. Может быть, и наш век проведет свою черту.

А мы,- сказал он тихо, и глаза его расширились,- мы живем и смотрим... радуемся и любим эти переливы, вечные смены. И, пожалуй, живем тем прекрасным, что... вокруг.

Машура не ответила. Не то чтобы она была поглощена чем, все же как-то замкнулась, собралась.

По дороге назад Христофоров сказал:

- А остаток лета придется мне проводить в Москве. Машура несколько задохнулась.
- Вы... наблюдатель... созерцатель... вам все равно, где, с кем жить. Следите за переливами... Что ж, вам виднее. Христофоров ответил тихо и очень сдержанно:
- Я уезжаю не потому, что я наблюдатель. Машура пожала плечами.
- Тогда я ничего не понимаю.
- Прав - я,- ответил Христофоров, мягко, как бы с грустью.Поверьте!

Когда они подходили к гостинице, у подъезда стоял автомобиль. Высокий офицер и господин в штатском говорили с монахом. В автомобиле сидела дама. Машура сразу узнала Анну Дмитриевну.

Анна Дмитриевна улыбнулась.

- А, и мы! Паломничеством занимаетесь? Машура сказала, где они были. Господин в штатском обернулся.
- Черт возьми, почему же нас непускают? Нет, скажите, пожалуйста; мне очень это нравится: святое место, мы приехали отдохнуть, и вдруг - нету номеров!

Он был худой, седоватый, с изящным лицом. Синие глаза смотрели удивленно. Подойдя к Машуре, он поклонился, назвал себя:

- Ретизанов.

И все улыбался, недоуменно, как бы обиженno.

333

А нам больше повезло,- сказал Христофоров.- У нас есть комната, мы бы могли ее предложить.

Машура подтвердила.

- Так у вас есть комната? - закричал Ретизанов, все держа перед собою канотье.
- Дмитрий Павлович,- крикнул он офицеру,- у них есть комната!

Никодимов подошел, вежливо поклонился. Глаза его, как обычно, не блестели.

- Вы нам очень поможете,- сказал он. Анна Дмитриевна вышла из автомобиля.
- Ну, милая вы голова,- сказала она Ретизанову,- почему же вы думаете, что в монастырской гостинице обязаны иметь для вас помещение?
- Нет, это странная вещь, мы приехали, и вдруг... Ретизанов развел руками. Он, видимо, был нервен и легко, как-то ребячески вспыхивал.

Антон не очень оказался доволен, когда к ним в номер ввалилась целая компания. Он сказал, что был уже в монастыре, и там нет ничего интересного.

- Я бывал тут давно,- тихо сказал Христофоров,- но сколько помню, напротив, монастырь мне очень нравился.

Антон взглянул на него своими маленькими, острыми глазами почти дерзко и фыркнул.

- Может быть, вам и понравился.

- Я смертельно пить хочу,- сказала Анна Дмитриевна,- пусть святые люди дадут мне чаю, выпьем и пойдем рассудим, кто прав.

Автомобиль попыхтел внизу и въехал во двор; розовый дом напротив сиял в солнце. Коридорный, времен давнишних, в русской рубашке и нанковых штанах, принес на подносе порции чаю;

приезжие пили его из чашек с цветами, рассматривая душеспасительные картинки на стенах. Воздух летнего вечера втекал в окошко. Ласточки чертили в синеве; за попом, проехавшим в тележке, клубилась золотая пыль.

Машура и Христофоров вышли со всеми. Антон, почему-то, тоже не остался. Через небольшую поляну подошли к монастырским воротам - с башнею, образом над входом. Внутри - церкви, здания, затененные липами и дубами; цветники с неизменными георгинами. Недавно началась всенощная. В открытые двери древнего храма, четырехугольного, одноглавого, видно было, как теплятся свечи; простой народ стоял густо; чувствовалось - там душ-но, пахнет ладаном, плывут струи синеющего, теплого воз духа.

Анна Дмитриевна шла своей сильной, полной походкой, щуря карие глаза. Высокая, статная, была она как бы предводительницей всей компании. Иногда поднимала золотой лорнет с инкрустациями.

334

- Вот вы и не правы, совсем не правы о монастыре,- говорила она Антону.- Я так и думала, что не правы.

- Да это же странное дело, говорить, что тут ничего нет хорошего! крикнул Ретизанов.- Прямо странное.

Антон искоса поглядывал на Машуру; к ней не подходил, не заговаривал. Он бледнел, раздражался внутренне и сказал:

- Значит, я ничего ни в чем не понимаю.

- Что меня касается,- сказал Никодимов, негромко, глядя на него темными, неулыбающимися глазами,- я тоже не люблю святых пении, золотых крестов, поэтических убежищ.

- А я, грешная, люблю,- сказала Анна Дмитриевна.- Видно, Дмитрий Павлыч, мы во всем с вами разные.

Она вздохнула и вошла в храм Рождества Богородицы, с удивительным орнаментом над дверями, послушать вечерню.

Ретизанов остановился, задумался, снял с головы канотье и, улыбнувшись по-детски, своими синими глазами, сказал Никодимову:

- В Анне Дмитриевне есть влажное, живое. А если живое, то и теплое. Вы слышали, она сказала: грешная! А в вас одна... одна барственность, и нет влажного, потому что вы ничего не любите.

Христофоров выслушал это очень внимательно.

Никодимов чуть поклонился.

В это время Антон, с дрожащей нижней губой, сказал Машуре, приотставшей:

- В этой компании я минуты не остаюсь. Я иду, сейчас же, домой.

- Что же сделала тебе эта компания? - спросила Машура тоже глухо.

- Тебе с Алексеем Петровичем будет интереснее, а я вовсе не желаю, чтобы меня... Я не гимназист. Пусть Алексей Петрович тебя проводит... до дома.

Он быстро ушел. Машура знала, что теперь с ним ничего не поделаешь. И она его не удерживала. Да и еще что-то мешало. Ей неприятен был его уход. Но как будто так и должно было случиться.

Много позже, когда синеватый сумрак сошел на землю, все сидели у гостиницы, на скамеечке под деревьями. Снизу, от запруды, доносились голоса. По тропинкам взбирались запоздалые посетители. Монастырские ворота были заперты, и у иконы, над ними, таинственно светилась лампадка - красноватым, очаровательным в тишине своей светом. Выше, в фиолетовом небе, зажглись звезды.

- Здесь жить я бы не могла,- говорила Анна Дмитриевна.- Но иногда и меня тянет к святому, да, как бы вы ни улыбались там, господин Никодимов, Дмитрий Павлыч!

Она обернулась к Христофорову.

- А правда, что вы в монахи собирались поступать?

335

- Меня иногда об этом спрашивают,- ответил Христофоров покойно.- Но нет, я совсем не собирался в монахи.

Подали машину. Было решено завезти Машуру и Христофорова домой. Когда тронулись, Анна Дмитриевна, всматриваясь в Христофорова, вдруг сказала:

- А вас я хотела бы свезти и вовсе в Москву. Послезавтра бега. Что вам в деревне сидеть?

Машина неслась уже лугом. Звенигород и монастырь темнели сзади. Редкие огоньки светились в городе.

- Эх, вот бы нестись... это я понимаю,- говорила Анна Дмитриевна.- И еще шибче, чтобы воздухом душило. Нет, поедемте с нами в Москву, Алексей Петрович.

К удивлению ее, Христофоров согласился. Полет автомобиля опьянял их благоуханием - вечерней сырости, лугов, леса. Звезды над головой бежали и вечно были недвижны.

V

Машуру завезли, как и предполагалось. Полчаса посидели - Наталья Григорьевна тоже изумилась, что Христофоров уезжает,- и покатали дальше. Было пустынно, тихо на шоссе;

гнать можно шибко. Никодимов достал коньяк, три серебряных стаканчика. Выпил и Христофоров. Стало теплее, туманнее в мозгу.

- А может быть, вы хотите у меня ночевать? - спросил Ретизанов, придерживая рукой канотье.- У меня квартира...

И на это согласился Христофоров. Он сидел рядом с Анной Дмитриевной, а напротив покачивались двое мужчин; дальше - голова шофера, зеркальное стекло, золотые споны света, вечно трепещущие, легко мчащиеся к Москве.

Москва приближалась - золотисто-голубоватым заревом; оно росло, ширилось, и вдруг, на одном из поворотов, с горы, блеснули самые огни столицы; потом опять скрылись - машина перелетала в низине реку, пыхтела селом - и снова вынырнули.

- Никодимов,- сказала вдруг Анна Дмитриевна,- отчего вы не похожи на Алексея Петровича? Он слегка усмехнулся.

- Виноват.

- А я хотела,- задумчиво и упрямо повторила она,- чтобы вы были похожи на него.

Никодимов выпил еще, встал, сделал под козырек и спокойно сказал:

- Слушаю-с.

Зазелено утро. Звезды уходили. Лица казались бледнее и мертвеннее. Мелькнули лагеря, Петровский парк вдали, в утреннем тумане; казармы, каменные столбы у заставы - в светлой, голубеющей дымке принимала их Москва. Анну Дмитриевну завезли домой. Переулками, где возрастили Герцены, прокатили на Пре

336

чистенку, и лишь здесь, у многоэтажного дома, отпустил шофера Ретизанов.

Никодимов вышел довольно тяжело; с собой забрал остатки вина, сел в лифт и сказал хмуро:

- Поехали!

Слегка погромыхивая, лифт поднял их на седьмой этаж. Никодимов вышел. Руки были холодны.

Когда Ретизанов отворял ключом двери квартиры, он сказал:

- Отвратительная штука лифты. Ничего не боюсь, только лифтов.

- Лифтов? Ха! Ну, уж это чудачество,- сказал Ретизанов.- А еще меня называет полоумным. Никодимов вздохнул.

- Вы-то уж помалкивайте.

Он выгрузил на стол свое вино. Лицо его было бледно и устало;

глаза все те же, темные; утренняя заря в них не отсвечивала.

Христофоров осматривался. Квартира была большая, как будто богатого, но не делового человека. Он прошел в кабинет. Старинные гравюры висели по стенам. Письменный стол, резного темного дуба, опирался ножками на львов. На полке кожаного дивана - книги, на

большом столе, в углу у камина,-увражи, фарфоровые статуэтки, какие-то табакерки. На книжных шкафах длинные чубуки, пыльный глобус, заржавленный старинный пистолет. В углу - восточное копье.

Странным показалось Христофорову, что он тут, почти у незнакомого, на заре. Он вышел на балкон. Было видно очень далеко - пол-Москвы с садами, церквами лежало в утренней дымке, уже чуть золотеющей; вдали, тонко и легко, голубели очертания Воробьевых гор. Христофоров курил, слегка наклоняясь над перилами. Внизу бездна - далекая, тихая улица; ему казалось, что сейчас все мчит его какая-то сила, от людей к людям, из мест в места. "Все интересно, все важно,- думал он,- и пусть будет все". Он вдруг почувствовал неизъяснимую сладость-в прохождении жизнью, среди полей, лесов, людей, городов, вечно сменяющихся, вечно проходящих и уходящих. "Пусть будет Москва, какой-то Ретизанов, кофе на заре, бега, автомобили, Анна Дмитриевна. Это все - жизнь".

- Кофе? - говорил сзади Ретизанов.- Конечно, кофе сюда. Нет, а по-вашему как?

Он тащил уже столик, а за ним Никодимов вышел со своими бутылками. Ретизанов беспокоился, хлопотал, размахивал руками. Все делал он сам - не особенно складно, но шумно и с оживлением.

- А вы, может быть...- сказал он Христофорову и вдруг улыбнулся добродушной, детской улыбкой,- может быть, голодны?

Христофоров тоже улыбнулся, слегка даже покраснел и ответил:

- Нет, почему же я голоден...

337

- У вас такой вид,- продолжал Ретизанов, с упорной наивностью, что, может быть, вы голодны... А то я вас ветчиной угощу.

- Вчера с ним славная была девица,- сказал Никодимов, кивая на Христофорова.- Вы хотя и в роде монаха... в женщинах понимаете.

Христофоров опять смущился.

- Машура была со своим женихом...- неловко сказал он.--А я, просто потому, что у них гостили. Никодимов засмеялся.

- Не оправдывайтесь. Жених довольно нескладен... и удрал. Не зря, видно. Нет, чокнемся. Такую подцепил...- Он свистнул.- Ди-те-но-чек! - И прибавил грубое слово.

- Ну, уж это черт знает! - закричал Ретизанов.- Нет, уж я вас знаю. Цинизм разводит. Да вы вообще циник. Нет, я просто не понимаю: такое утро, мы сидим чуть не под небесами, солнце, прелесть, а он... гадости. И еще с этаким... джентльменским видом. Джентльмен! Вы знаете,- обратился он к Христофорову,- он всегда надо мной издевается. Например, когда я влюблен...

- Каждый месяц,- сказал Никодимов.

- Подождите, не перебивайте... Когда я влюблен, он мне черт знает что говорит.

Он сел с Христофоровым рядом и вперил в него синие, взволнованные глаза.

- Я вот и сейчас влюблен.- Ретизанов говорил тише, но очень серьезно.- В Лабунскую... Нет, это замечательная девушка. Когда вы увидите, то скажете. Она танцует.

- Вместо того, чтобы... - сказал Никодимов,- он посыпает ей букеты, отождествляет с греческими рельефами... ну, это известное... рождение Венеры. И, кажется, намерен в кабинете воздвигнуть алтарь для служения ей.

- Нет, с ним нельзя разговаривать...

Ретизанов совсем зазвонился, вскочил и вышел. Он отправился к себе в спальню и для чего-то вымыл даже руки, ополоснул лицо. "Нет, это уж черт знает что,- твердил он про себя.- Это черт знает что".

Вернулся он тихий и молчаливый, как бы погасший.

- Вы напрасно на меня сердитесь,- сказал Никодимов,- я, во-первых, пьян. Во-вторых.- у меня вообще дурной характер.

- Я на вас не сержусь,- ответил Ретизанов,- на вас сердиться нельзя.

Никодимов захочотал, но как-то деланно.

- Убил! Прямо убил в сердце.

Все же они сидели довольно долго. Утро действительно было чудесно. Понемногу Москва просыпалась. Зазвенел трамвай. Появились женщины с кулечками, проходили рабочие. Никодимов стал зевать; его темные глаза отупели.

Устал и Христофоров. Он решил не оставаться здесь, а прямо

338

пройти домой, там отдохнуть. Когда они выходили через кабинет, Никодимов сказал:

- Здесь живет и работает, собирает старинные книги, изучает ритм, изобретает новые законы гармонии, беседует с гениями и влюбляется дон Алонзо-Кихада дель Ретизанов. Ну, особенно с гениями: с этими он запросто.

Ретизанов молча подал ему руку. Глаза его были усталы и рассеянны.

Когда вдвоем они спускались в лифте, Никодимов сказал:

- Впрочем, каждый развлекается, как хочет. Я уверен, что сейчас Ретизанов советуется с духами, идти ли завтра к Лабунской и какой надеть галстук.

- Он спирит? - спросил Христофоров.

- Вряд ли. Скорее, просто чудак. Но из тех,- прибавил холодно Никодимов,- которых многие любят.

Христофоров взглянул на него. Что-то затаенное, почти горькое послышалось ему в этих словах.

Никодимов шел по Пречистенке, очень прямо и довольно твердо, курил и вдруг сказал:

- В общем, скучно. Даже очень скучно, хотя и выпил. Через несколько минут он снова заговорил:

- Вот вы, мудрая душа, *sancta simplicitas'*, объясните мне следующее. Я вижу сон: будто я в Вене, шикарный отель. Вхожу, иду к лифту. Швейцар стоит у дверцы и внимательно смотрит. Снимает каскетку, кланяется мне и улыбается. Отворяет дверцу. Я должен войти... Больше

ничего, но тут просыпаюсь, всегда с ужасом. Странно, что всегда швейцар одинаков, я помню его лицо. Этот сон я видел раза три. Это что, плохо?

Казалось, Никодимов уже трезв. Он как-то подобрался, впал в некую задумчивость.

- Сна я не умею объяснить,- ответил Христофоров.- Но вполне понимаю, что для вас он может быть неприятен. Никодимов вздохнул.

- Я все думаю, что этого швейцара с лифтом встречу. Расставаясь, Никодимов подал ему руку, улыбнулся и сказал:

- Что же, завтра на бега?

- Может быть.

Христофоров зашагал по Поварской. Он не ясно сознавал, почему это делает, и, лишь дойдя до дома Вернадских, поймал себя на том, что просто ему приятно пройти мимо него. На улицу выходил особняк с антресолями, со старинными, зеркальными стеклами, чуть отливавшими фиолетовым. Были спущены синеватые шелковые шторы, в складках; деревья затеняли крышу, открыты настежь ворота, двор полузарос травой, у колодца, посреди, бродят сизые голуби. И лишь крепко заперт каретный.

' О, святая простота! - восклицание, приписываемое Яну Гусу, увидевшему, как старуха подбрасывает дрова в костер, на котором его сжигали (лат.).

339

Христофоров остановился на другой стороне улицы, в свежей тени ясного утра, смотрел на антресоли Машуры, потом улыбнулся, повернулся на одной ноге и пошел домой.

Прислуга удивилась, увидав его. Он поздоровался с хозяйкой, старушкой в седых локонах - г-жою Самба; когда-то была она замужем за французом; сохранила манеру аккуратно одеваться, завивать буки; в остальном была старинная московская дама; в комнатах ее пели канарейки, лежали чистые половички, свечи сияли перед иконами; стояло много пустячных статуэток, фотографий - все в безукоризненной чистоте.

Сейчас она пила утренний кофе и тоже удивилась Христофорову. Раньше августа она его не ждала.

Христофоров прошел наверх. Комната казалась пустоватой, все имело уже нежилой дух. Фотографии на стенах обернуты газетами.

Он сел на подоконник, растворил окно. Зеленый тополь шелестел, серебристо отблескивая листиками. Дальше был садик с яблонями, дровяной сарай. Ему представилось, что сейчас Машура встала и работает своим скребком или лежит в гамаке, а голубое утро опрокидывает над нею свою чашу. Отсюда, издали, даже лучше он ее чувствовал. Хорошо или плохо, что уехал?

Он оглянулся, увидел свою полупустую келью, мгновенно пронеслось пред ним многое из прежней жизни - ряд таких же келий, одиночеств и бесплодных мечтаний. "Ну и ладно, ладно,- сказал он себе, отходя к кушетке.- Значит, так и живем". Он взял подушку, лег и закрыл глаза. Слезы стояли в них. Эти слезы приятно было бы видеть Машуре. Он же глотал их и ждал, пока просохнут мокрые ресницы.

Несколько успокоившись, Христофоров уснул.

VI

Утро следующего дня было такое же солнечное. Горячий тополь, шелестя пахучей листвой, бормотал за окном. Христофоров скромно пил чай с калачиком и читал газету, когда дверь отворилась: вошла Анна Дмитриевна. В дверях она слегка нагнулась, чтобы не помять эспри. Но и в самой мансарде, при росте вошедшей, эспри чуть не чертил по потолку воздушными своими кончиками.

- А,- сказала она, оглядываясь,- убежище отшельника. Здравствуйте, святой Антоний.

Христофоров встал и улыбнулся.

- Ну, вы тогда царица Савская. Впрочем...- Он смешался.- Я, кажется, говорю глупости. Анна Дмитриевна захочотала.

- Пожалуй, что и так. Я, во-первых, не имею намерений этой царицы, второе - у меня нет и шерсти на ногах. Дело проще:

нынче бега, я за вами заехала. Ни более, ни мене. Впрочем,- прибавила она,- мне еще хотелось посмотреть, как вы живете.

340

Она подошла к окну, на котором он вчера сидел, тоже села, сняла шляпу и еще раз обвела глазами убежище.

- В этой комнате,- сказала она,- нет женщины и никогда ее не было. По ней тоскуют стены. Хозяин пьет чай с одинокой булкой, ходит с непришитыми пуговицами и скромно чистит скромный сюртучок.

Христофоров взял порыжелую шляпу и сказал:

- Хозяин прожил так полжизни.

Анна Дмитриевна смотрела теперь в садик, залитый солнцем, задумалась. Потом вдруг встала, вздохнула и стала поправлять эспри.

- Может быть, тут и хорошо жить, в вашем скиту. Может, и надо так, не вам одним. Эх, милый вы человек, и зеркало же... ну, да уж что там...

Они спустились и вышли. Рысак ждал на улице, перебирая в нетерпении ногами - косился на кучера злым глазом; кучер напоминал истукана.

- Москва, голубушка! - сказала Анна Дмитриевна, садясь и указывая на кучерову спину.- Я ведь и сама Москва,- говорила она, когда тронулись.- Я московская полукровка, мещанка. Говорю "на Москва-реке", "нипочем", люблю блины, к Иверской хожу. Я просто была хорошенькая девчонка, когда меня продали замуж... или сама продалась. Меня отдали за такое, знаете ли, миллионное животное... Сверхъестественно миллионное. И животноесверхъестественное.

Она помолчала.

- Я ко всему приучена, голубчик. Всем развращена, чем можно,- и людьми, богатством, хамством. Теперь муж мой умер. Мне и говорить-то о нем нельзя.

Она вдруг засмеялась - холодно и резко.

- Он меня бил. Вы знаете? Случалось. Я запудривала синяки. Христофоров сбоку, с удивлением взглянул на эту статную, темноволосую женщину. Она поняла и улыбнулась.

- Ах, дитя, не ищите. Теперь сошли. Когда рысак, пенясь под жарким солнцем, мчал их за Триумфальной аркой, среди зелени к Петровскому парку, она спросила:

- Нравятся вам два небольших слова: "Тайное горе. Тайное горе"?

Христофоров опять на нее взглянул и тихо ответил:

- Да. Очень нравятся.

Она слегка хлопнула его перчаткой.

- Так. Ну, вот и подъезжаем,- перебила она.- Теперь мы направимся с вами в некую клоаку, называемую азартом, игрою и прочим. Здесь посмотрим жалкий человеческий род и себя покажем.

Рысак взял налево и понес по молодой аллее; круглые солнечные пятна трепетали под деревьями; по тротуару спешило человечество. Завиднелось аляповатое здание с группами коней на фрон

341

гоне - к нему беспрерывно подходили, подъезжали на извозчиках, автомобилях, собственных лошадях. Христофоров никогда здесь не бывал. Выйдя из коляски, поднявшись к вестибюлю, миновали они турникет,- и тут гудящая, бурлившая толпа затолкала его, ошеломила. Только что кончился заезд. Из амфитеатра спешили в залу, к окошечкам касс, записываться на следующий. Посреди залы, у столиков, захватившие места счастливцы пили чай, воды, коньяк.

Потолкавшись, прошли они в ложу. Открылся вольный свет, голубой воздушный, простор,- а у ног накатанная полоса, уходившая вдаль плавным эллипсом. На легоньких двухколесках проезжали по ней наездники в шутовских полосатых куртках, кепи и очках. За далеким забором виднелись здания вокзала, дома, сады Москвы, и золотисто переливал купол Христа Спасителя.

- Здесь,- сказала Анна Дмитриевна, оглядываясь,- всякие низы, шваль; а можете увидеть и художника, врача и адвоката. Это затягивает.

- Вы тут часто бываете? - спросил Христофоров. Она улыбнулась.

- Нет, да я-то не особо...- Она вынула часики и взглянула.- Что же Дмитрий Павлыч не едет? Это он у нас любитель всяких таких штук,- прибавила она.

Иная интонация послышалась здесь Христофорову. Точно тень пробежала по ней. Она замкнулась, но была спокойна.

- А, вон видите - Ретизанов! Она приложила к глазам лорнет.

- Гуляет под руку с высокой барышней... Лабунская, одна танцовщица.

В это время в ложу вошел Никодимов. Он был свежевымыт, подобран, несколько бледен и оживлен.

- Ставьте на Кругом-шестнадцать,- сказал он Христофорову, поздоровавшись и поцеловав руку Анне Дмитриевне,- лошадь верная. Селима играет ее, я тоже.

Темные глаза его, сколько могли, выказывали возбуждение.

- Селима живет с Хохловым и все знает. Хохлов нарочно ее темнил, а теперь зарабатывает.

В публике никто этой лошади не понимает. Выдача будет по тысяче.

- Ну, уж Бог с ней, с вашей лошадью... да и с певицей,- сказала Анна Дмитриевна,- покажите ее, по крайности. А, брюнетка, в фиолетовой какой-то вуали... глаза подкрашены по-сузdalьски... Понимаю... Типичная. С ней юркий господинчик. Да... это,- обратилась она к Христофорову,- такие темные личности, якобы все знают про лошадей и дают вам совет - за вознаграждение, понятно... Юрисконсульты по лошадиной части. А больше всего - жулики. Называются они -- жучки. Среди них вот приятели Дмитрия Павлыча.

Никодимов усмехнулся.

- Если что-нибудь скверное, то непременно Дмитрий Павлыч.

342

Внизу зазвонили. Шесть лошадей тронулось, быстро они сбились в кучу, каждая стараясь занять внутренний круг. До поворота нельзя было определить их шансов. Но лишь вышли на прямую, впереди оказался маленький, похожий на кузнечика наездник. "Забирает, забирает,- говорили кругом.- Сенькин забирает".— "Нет-с, не думайте... Не выдаст".- "Что-то туда..." - "Ага, Хохлов!"

Христофоров заметил, что теперь, вблизи второго поворота, из группы лошадей, бежавших изо всех сил, отсюда же казавшихся игрушечными, вдруг выделилась одна, с голубым наездником, и легко обошла кузнечика. Толпа на трибунах загудела. "Хохлов! - слышались голоса.- Хохлов!" Обернувшись, Христофоров увидел бледные, раздраженные лица. Бинокли впились в точку эллипса, где некий Хохлов, под блеском полуденного солнца, обгонял на своей Кругом-шестнадцать Сенькина, кузнечика. Никодимов стоял вытянувшись, приложив ладонь к козырьку фуражки. Мускулы на шее его подрагивали. Ветерок шевелил серебряный аксельбант.

- А смотрите,- сказала Анна Дмитриевна, не отрывая от глаз лорнета, Дмитрий Павлыч наш выигрывает. Видно, что с Селимой знаком.

В эту минуту физически ощущил Христофоров тучу, повисшую над всем этим огромным скопищем,-тучу желаний и жадности. Горячие глаза, побледневшие лица. Имя Хохлов, для большинства сейчас ненавистное, другим звучащее музыкой, перебегало по толпе. Вопреки всему, Хохлов побеждал. На последней прямой это стало ясно.

Анна Дмитриевна положила лорнет, обернулась и сказала Никодимову:

- Что же, вас можно поздравить...

С ипподрома раздался как бы пистолетный выстрел. Кругом-шестнадцать вдруг заскакала, произошло мгновенное замешательство, сзади кто-то охнул, через секунду впереди шла другая лошадь. "Алябьев, Алябьев, браво, навались!" - кричали сверху. Хохлов бил кнутом свою Кругом-шестнадцать, трясясь на двухколеске с лопнувшей шиной, а некий Алябьев, тоже нежданный герой дня, на полкорпуса обставил его у самого финиша. Кузнечик был третьим.

Толпа кричала. Одни ругали Хохлова, другие кузнечика.

Подошел Ретизанов с высокой, тонкой девушкой в соломенной шляпе и коричневой длинной вуали. Ее серые глаза улыбались.

- Мы выиграли,- сказала она певучим, московским говором, здороваясь с Анной Дмитриевной.- Мы пополам ставили на лошадь, которой имя мне понравилось: Беззаботная. И она пришла первая. Мы... как это ставили?

- В ординарном,-тоже улыбаясь, ответил Ретизанов.- По пяти рублей. А вы на кого? - спросил он Никодимова.- Ага, с носом, ах, черт возьми, вы, значит, проиграли? Триста рублей!

343

Ретизанов удивился.

- Нет, как вам это нравится,- обратился он к Анне Дмитриевне,- он ставит на лошадь триста рублей! Нет, это уж безобразие! По-вашему, он откуда их берет?

Анна Дмитриевна ничего не ответила. Что-то прошло в ее лице. Она стала отдаленней.

- Если бы мне покровительствовали гении, как вам,- холодно сказал Никодимов,- я бы поставил и тысячу.

- Черт знает, как вы это говорите... гении! Всегда че- пуху.

Ретизанов вспыхнул и отошел.

- Какие славные лошади, и славный день,- говорила Лабунская, слегка щурясь и глядя на ипподром.-Это не потому, что я выиграла, но не знаю, мне все сегодня нравится и кажется таким светлым.

- У вас сердце легкое,- ответила Анна Дмитриевна, ласково глядя на нее, и вздохнула.- Вы вся легкая, я чувствую.

Внизу, на доске, прикрепленной к столбу, вывесили выигрыши. Ретизанов надел пенсне, высунулся из ложи и захотел.

- Ах, черт возьми! Знаете, сколько выдают? Ха! Никодимов будет завидовать.

Минут через десять он возвратился с трофеями. Лабунская взяла четыре сотенных, сунула в мешочек с видом безразличия.

- Что вы будете делать с этими деньгами? - спросил Христофоров.

Она подняла на него серые, ясные глаза. "Беззаботная",- вспомнилось ему имя лошади, на которую она ставила.

- Я ведь их не ждала,- сказала она.- Может быть, потому и выиграла, что не ждала. А теперь что делать...- Она вынула опять деньги.- Что же, это вот сто, духов куплю, сто чулки, сто... хотите, вам отдам, а еще сто... уж и не знаю.

- Дайте мне,- сказал Никодимов,- поставим пополам. Она взглянула на него.

- Берите.

Никодимов протянул руку. Анна Дмитриевна отвернулась. Пальцы его были холодны. Он ушел. В ложе наступила заминка. Анна Дмитриевна усиленно рассматривала публику, Лабунская ела шоколад и лениво вертела программу.

- Зачем вы ему дали денег? - волновался Ретизанов.- Черт знает...

С Никодимовым Лабунская проиграла. Проиграл он и в следующий заезд. Они выходили пить чай. Никодимов все играл. Он ходил от одной кучки темных личностей к другой, разговаривал с Селимой, тоже нынче злой. У него был вид маньяка. Христофоров несколько устал. Медленно проходя к себе в ложу, он через несколько человек видел, как Анна Дмитриевна что-то быстро и резко говорила Никодимову, потом вынула из сумки пачку денег и дала.

Когда кончился последний заезд, Христофоров подошел к нему.

- Ну, как ваши дела?

Никодимов посмотрел на него усталыми глазами.

- Очень плохо.

Ретизанов предложил обедать у Яра.

Начался разъезд. Побежденные брели пешком, хмуро ждали трамвая. Победители летели по ресторанам пропивать и проматывать трофеи, ловить легкое мгновение текущей жизни. Для них широко был открыт Яр, играл оркестр, и знаменитый румын выбивал трели; горело золотом шампанское в вечернем свете; придавали розы. Можно было видеть Лабунскую, в соломенной шляпе, легко и беспечно резавшую ананас. Анну Дмитриевну, как-то горько охмелевшую от шампанского, и десятки других нарядных женщин, шикарных мужчин. Потом, когда село солнце, прошло междуцарствие сумерек, синяя ночь наступила. И в раскрытые, гигантские окна взглянули иные миры, плавно протекающие по кругам, золотясь, мерцая. Как далекий, голубоватый призрак, провела Вега свою Лиру.

"Тайное горе,- думал Христофоров, вглядываясь в Анну Дмитриевну. Тайное горе".

VII

Антон отлично понимал, что во всем был виноват-там, в монастыре. Действительно, что сделала против него Машура? Из-за чего он резко и грубо ушел, явился домой один, с несчастьем и бешенством на сердце? Как растолковать все это Наталье Григорьевне, "проклятому здравому смыслу"? В его поведении не было здравого смысла. Но, считая себя виновным, он находил, что также он и прав. Ибо в Машуре, за ее действиями и словами, ощущал нечто, дававшее ему право на беспорядки.

Он молчал, не уезжал в эти дни в город, был мрачен и ходил один. Минутами остро ненавидел себя. Видя в зеркале сутулую фигуру с большой головой, вихрастыми волосами и сумрачным взглядом небольших глаз, он мгновенно убеждался, что такого полюбить нельзя. Впрочем, тут же вспоминал, что многие великие люди были даже безобразны, например Сократ. Во всяком случае, приятность, симпатичность - а это наиболее ценится - есть признак малой и не страстной души. Да, но многие в его годы... Абель в двадцать шесть лет открыл ряды, обессмертившие его имя, хотя и умер молодым и непризнанным. В этом Антон находил некоторое острое удовлетворение: он, с его неказистым видом, он, похожий на застенчивого и вспыльчивого гимназиста,- более всего подходит для роли недооцененного героя, прежде временно гибнущего. "И ладно,- говорил он себе, в горьком упоении, превосходно. Пусть так и будет".

Но долго выдержать позу не мог. Иногда Машура действовала

на него ошеломляюще. Звук голоса, какой-нибудь завиток темных волос над ухом вызывали мучительную нежность. Раз она довольно долго держалась за перила террасы; потом ушла. Он встал с качалки, подошел, приложил лоб к теплому еще дереву; на глазах появились слезы. Вошла Наталья Григорьевна. Он быстро отвернулся, все же она заметила, как он взволнован. Это лишь усилило ее беспокойство.

Наталья Григорьевна вообще замечала, что между ними неладно. Спрашивала и Машуру, почему он в такой, как она выражалась, депрессии. Но Машура ничего ей не объяснила. Она сама чувствовала себя неважно. Что-то очень смутное и неясное было у нее на душе. Нечто ее беспокоило.

Приезжал на несколько часов Христофоров, за вещами. Он был тих и молчалив. Обедали довольно сумрачно. Когда случайно разговор коснулся Анатоля Франса, Антон сказал, обращаясь к Наталье Григорьевне:

- Ваш Анатоль Франс просто французский разговорщик. От него волосы на голове не шевелятся.

Наталья Григорьевна возразила, что кроме волос на голове - есть еще стиль, изящество и философия; ирония и доброта; есть, наконец, гений многовековой латинской культуры.

Но Антон не возражал, и разговор вообще не поддержался. Верно, все были заняты другим.

Вечером, когда Христофоров уехал, у Машуры с Антоном было объяснение. Оно не выяснило ничего. Антон волновался, почти грубил. Машура расплакалась и убежала в свою комнату. Ночью оба не спали. А наутро он уехал, оставив записку, что так больше жить не может. Он отправляется до осени на урок.

Машура прочла, разорвала бумажку и решила, что пусть будет, как будет. Отныне просто одна она станет заниматься жизнью, маленькими своими делами, ни о ком не думая. И правда, этот последний месяц провела в деревне, в одиночестве - полторы недели даже совсем одна - Наталья Григорьевна уезжала в Петербург. Это время осталось в ее памяти, как полоска жизни чистой, покойной и немного грустной. Можно было гулять одной ясными августовскими вечерами, когда овес смутно белеет и шуршит в сумерках, полынь горкнет на межах, и красноватый диск встает на лиловом горизонте. Казалось, что она свободна от всего и всех. Можно было мечтать об одинокой жизни среди полей, под звездами.

Но вернулась Наталья Григорьевна, все стало на свои места. И, как полагалось, в первых числах сентября водворились уже Вернадские на зимние квартиры, совершая непрестанный круговорот, называющийся бытием.

Как всегда, Машура возвращалась к старому пепелищу освеженная, как бы ободренная. Предстояла зима, полная нового: впечатлений, занятий, выездов, книг. Жизнь осенью, в Москве, бывает иногда хороша.

346

И Машура с живостью и возбуждением устраивалась на Поварской. К ней наверх вела узенькая лестница. Небольшая первая комната - как бы приемная; во второй, большой, разделенной пополам портьерой, вдоль которой длинный диван, жила Машура. Окна смотрят на юг. Солнце чисто и приветливо сияет в безукоризненном паркете, отсвечивает в ризах икон в киоте, золотит клавиши пианино; освещает на стене итальянский примитив - старинную копию; блестит в ручках качалки с накинутым вышиванием, в книжках, фотографиях, тетрадках, где можно встретить стихи Блока и портрет Бальмонта, во всех тех маленьких пустяках, что составляют обстановку и уют московской барышни из образованной семьи.

Жизнь ее приняла предустановленное течение: ходила Машура на курсы, где слушала философию, историю и литературу; взяла абонемент на Кусевицкого; бывала у знакомых, и у себя дома принимала; в этом году то еще явилось, что Машура вошла в общество "Белый Голубь". Оно состояло сплошь из девушек. Собирались для чтения книг, рефератов и бесед, направленных к духовному саморазвитию. Занимались религией. Искали смысла жизни.

Рассуждали о поэзии, искусстве. Устраивали музыкальные вечера. Среди барышень была молодая актриса, две музыкантши, художницы. Там встретилась Машура с Лабунской.

Лабунская очень ей понравилась - красотой, изяществом и простой вольностью движений.

Приятны были улыбка, смех, несколько тягучий, широкий и мягкий московский выговор. Скоро выяснилось, что у них есть общие знакомые-Анна Дмитриевна. Лабунская сказала, что знает, как они были в монастыре.

- Ах,- прибавила она живо,- да вы, пожалуй, знаете и Христофорова. Ну, такой голубоглазый дядя, не то поэт, не то отшельник. Впрочем,прибавила она со смехом,- мы с ним познакомились на бегах.

Машура слегка покраснела.

- Да, Алексея Петровича я знаю...

Лабунская сказала, что скоро у них в студии будет вечер, немногочисленный, "но, может быть, и ничего себе". Там и она выступает. Машуру она приглашала.

- Будут некоторые пресмешные,- прибавила она.- В общем, ничего. Приходите.

Машура поблагодарила. И предложение приняла. В условленный день Лабунская звонила к ней. Наталья Григорьевна не была безразлична к тому, куда Машура ходит; но считала ее вполне благоразумной и не возражала.

Часов в десять вечера Машура подходила к большому красному дому, в затейливом стиле, на площади Христа Спасителя. Луна стояла невысоко. Белел в зеленой мгле Кремль; тянулась золотая цепь огней вдоль Москва-реки.

Машура поднялась на лифте, отворила дверь в какой-то ко

347

ридор и в конце его поднялась по лесенке в следующий этаж. Вся эта область населялась одинокими художниками; жили тут три актрисы и француз. Лесенка вывела ее в большую студию, под самой крышей. Угол отводился для раздевания. Главная же комната, вся в свету, разделена суконной занавесью пополам. Машура скромно стала к стенке и осматривалась. Обстановка показалась непривычной: висели плакаты, замысловатые картины; по стенам нечто вроде нар, на которых можно сидеть и лежать. Вместо рампы - грядка свежих гиацинтов.

- А-а,- сказал Ретизанов, улыбаясь.- Вам нравятся вот эти гиацинты? Это я все...

Ретизанов был очень наряден, в хорошем смокинге, безукоризненной манишке, лакированных ботинках. На бледном лице с седоватой бородкой и усами синели глаза.

- Вы знаете, я люблю цветы... Я не понимаю, как можно не любить... А вы как смотрите? Тем более, когда танцует Елизавета Андреевна... Потому что она ведь одна музыка и ритм, чистейшее проявление музыки и ритма...

Он заволновался и стал доказывать, что Лабунскую надо смотреть именно среди цветов. Машура не возражала. Она даже была согласна; но Ретизанов, усадив ее в угол, громил каких-то воображаемых своих противников и мешал даже рассмотреть присутствующих. Забежала Лабунская, уже в длинной светлой тунике, поцеловала Машуру, улыбнулась и ускользнула.

За минуту до начала, когда дамы, художники, меценаты, курсистки, поэты, молодые актрисы усаживались, кто на нарах, кто на табуретках, шурша платьями, благоухая, смеясь,- к Машуре подошел Христофоров в обычном своем сюртучке. Она взглянула на него сбоку,держанно, и протянула холодноватую руку.

Заграла невидимая музыка, свет погас, и зеленоватые сукна над гиацинтами медленно раздвинулись. Первый номер была пастораль, дуэт босоножек. Одна изображала влюбленного пастушка, наигрывала, танцуя, на флейте, нежно кружила над отдыхавшей пастушкой; та просыпалась, начинались объяснения, стыдливости и томление, и в финале торжествующая любовь. Затем шел танец гномов, при красном свете. Лабунская выступала в Орфее и Эвридике. Была она легка, нежна и бесконечно трогательна. Казалось странным, зачем нужна она там, в подземном царстве; и одновременно - да, может быть, и есть своя правда, и высшая печаль в этом.

- Я говорил вам,-шептал сзади Ретизанов,-что она божественна. А еще Никодимов болтает... Нет, это уж черт знает что...

В антракте он побежал к Лабунской. Машура и Христофоров прогуливались среди полузнакомой толпы. Опять сиял свет, блестели бриллианты дам.

- Я вас не видел почти месяц,- говорил Христофоров.- Уже сколько дней...

348

Машура взглянула на него. Его глаза были слегка влажны, блестели; казалось, был он очень оживлен, каким-то хорошим воодушевлением. Она улыбнулась.

- Вы весело живете, Алексей Петрович?..

- Как вам сказать,- он слегка расширил зрачки,- и грустно, и весело.

Когда опять погас свет и раздвигался занавес, Машура сказала шепотом:

- Все-таки в том, как вы уехали от нас, было что-то мне неприятное...

Христофоров ничего не ответил, смотрел на нее долго ласковым, смущенно-взволнованным взором. На сцене полунасупие девушки изображали охоту: то они быстро неслись, как бы догоняя, то припадали на одно колено и метали дротик, кружились в конце концов, опять танцевали друг с другом и поодиночке - быть может, с воображаемым зверем.

Христофоров вынул блокнот, оторвал бумажку, написал несколько слов и передал Машуре. В неясном свете рампы, близко поднеся к глазам написанное, она прочла: "Простите, ради Бога. Если дурно сделал, то ненамеренно. Простите".

Худые щеки Машуры слегка заалели. Взяв карандаш, она ответила: "Я нисколько не сержусь на вас, милый (и загадочный) Алексей Петрович".

Христофоров взял и шепотом спросил:

- Почему загадочный?

Машура мотнула головой и по-детски, но убежденно ответила:

- Да уж потому.

Когда вечер кончился, Ретизанов сказал им, чтобы не уходили со всеми. Лабунская просила идти вместе.

- А Никодимов хорош гусь, а? - вдруг спросил он.- Сейчас записку прислал - дайте взаймы тысячу рублей. Как это вам нравится? Тысячу рублей! - Ретизанов вскипел.- Что я, банкир ему, что ли?! Мало Анну Дмитриевну обирать, так и меня... нет-с. уж дудки...

В студии стали гасить свет. Лишь сцена освещалась - оттуда слабо пахло гиацинтами. Христофоров с Машурой отошли к нише, разрисованной углем и пастелью. Был изображен винный погреб, бочки, пьяницы за столом. Окно выходило на Москва-реку.

-- Вот и Кремль в лунном свете,- сказал Христофоров,- в нем есть что-то сладостное, почти пьянящее.

- Вам Лабунская нравится? - спросила Машура.

- Да,- ответил он просто.- Очень. Машура засмеялась.

- Мне кажется, что вам нравится Кремль, и лунный свет, и я, ваша голубая Вега, и Лабунская, так что и не разберешь...

- Мне действительно,- тихо сказал он,- многое в жизни нравится и очаровывает, но по-разному...

349

Подошла Лабунская, подхватила их и повела. Ретизанов ждал, уже одетый. Он был в большой мягкой шляпе, в пальто с поднятым воротником.

- А я очень рада,- говорила Лабунская, прыгая вниз по лестнице через несколько ступеней,- что вся эта катафасия кончилась. Ну, как наши девицы плясали? Не очень позорно? Мы ведь неважно танцуем. Так, тути-фрюти какие-то.

- Все плохи, кроме вас! -сказал Ретизанов и захочотал.- Позвольте, я подготовил вам еще букет на дорогу! Тут, у швейцара.

- Ну, дай вам Бог здоровья!

Лабунская шла по тротуару, помахивая букетом и смеясь.

- Значит,- говорила она,- все-таки хорошо, что был этот вечер. Я получила букет, меня ведут в Прагу ужинать, луна светит... вообще все чудесно.

"Беззаботная!" - вспомнил Христофоров имя лошади, на которую она выиграла. И улыбнулся.

На Пречистенском бульваре было пустынно; тени дерев переплетались голубоватой сеткой; изредка пролетал автомобиль;

извозчик тащился, помахивая концом вожжи. Лабунская бегала по боковым дорожкам, танцевала, бросала листьями в лицо Ретизанову. Христофоров смеялся. Он пробовал ее обогнать, но неудачно.

Ретизанов звал всех ужинать,- Машура отказалась. У па-мятника Гоголю она села с Христофоровым на скамейку и сказала, что дальше не двинется: очень ночь хороша.

- Если соскучитесь,- крикнул Ретизанов, уходя,- приходите в Прагу. Я и вас накормлю.

Но они не соскучились. Христофоров снял шляпу, курил и внимательно, нежно смотрел на Машуру.

- Почему вы написали: загадочный? Машура улыбнулась, но теперь серьезней.
- Да, ведь и верно- вы загадочный.
- Я уж, право, не знаю. Машура несколько оживилась.
- Ну, например... вы, по-моему, очень чистый, и не такой, как другие... да, очень чистый человек. И в то же время, если бы вы были мой, близкий мне, я бы постоянно мучилась... ревновала.
- Почему?
- Я, положим, знаю,- продолжала она горячо,- что если Антон меня любит, то любит именно меня, и для него весь мир закрыт, это, может быть, и проще, но... Да, у вас какие-то свои мысли, и я ничего не знаю. Я о вас ничего не знаю, и уверена - никогда не узнаю. Наверно, и не надо мне знать, но вот именно есть в вас что-то свое, в глубине, чего вы никому не расскажете... А пожалуй, вы и думаете там о чем-нибудь, еще других любите... Нет, должно быть, я уж нелепости заговорила.

Она звонковалась, и правда, будто стала недовольна собой.

350

Христофоров сидел в некоторой задумчивости.

- Вы меня странно изображаете,- сказал он.- Возможно, и потому, что у вас страстная душа. Почему вы говорите о ревности или о том, что я нехорошо от вас уехал,- прибавил он с внезапной, яркой горечью.- Разве вы не почувствовали, что мне не весело было уезжать? Нет, в том, что я уехал, ничего для вас дурного не было.
- А мне казалось, это значит сохранить свободу действий. Он взял ее за руку.
- Как вы самолюбивы... Как...

Машура вдруг откинулась на спинку скамьи. Пыталась что-то выговорить, но не смогла. В лунном свете Христофоров заметил, что глаза ее полны слез.

- А все-таки,- сказала она через минуту, резко,- я никого не люблю, кроме Антона. Никого,- прибавила она упрямо.

Во втором часу ночи, прощаясь с ней у подъезда их дома, Христофоров сказал:

- Может быть, вы отчасти и правы, я странный человек. В голубоватой мгле дерев, чуть озаренный лунным призрачным серебром, с глазами расширенными и влажными он действительно показался ей странным.
- Не знаю,- холодновато ответила она.- Покойной ночи. Он поцеловал ей руку.

VIII

Было около шести. В конце Поварской закат пыпал огненно-золотистым заревом. В нем вычерчивалась высокая колокольня, за Кудриным; узкое, багряное облачко с позлащенным краем пересекало ее.

Антон вошел в ворота дома Вернадских, поднялся на небольшое крыльце и позвонил. Косенькая горничная отворила ему и сказала, что барышня дома.

- Только у них нынче собрание, они заперлись, наверху,- добавила она, не без

значительности.

Антон снял свое неблестящее пальто и усмехнулся.

- Девицы?

-- Так точно. И чай туда им носила. Старая барыня в столовой, пожалуйста.

"Спасением души Машура занимается,- подумал он, оправляя у зеркала вихры.- Очевидно, у Машуры нынче заседание общества "Белый Голубь". Пишут какие-нибудь рефераты, настраивают себя на возвышенный лад, а к сорока годам станут теософками",- хмуро подумал он. Напала минутная тоска. Стоит ли оставаться? Не надеть ли пальтишко, не уйти ли назад? Полтора месяца он с Мишурой почти в ссоре, в Москве не был, а сейчас явился зачем-то - с повинной? "Невольно к этим грустным берегам"?..

351

Но он переломил неврастенический приступ, вздохнул и полутемным коридором, откуда подымалась лесенка к Машуре, прошел в столовую.

На столовую она походила не совсем. По стенам стояли диваны, книжный шкаф, в углу гипсовая Венера Медицейская; закат бросал на дорогие, темно-коричневые обои красные пятна. За чайным столом в вазах стояли букеты мимоз и красная роза в граненом, с толстыми стенками стаканчике. Печенья, торты, хрустали, конфеты- все нынче нарядней, пышней обычного-у Натальи Григорьевны тоже приемный день, когда собирались знакомые и друзья. Сама она, в черном бархатном платье, с бриллиантовой брошью, в золотых своих очках, при седой шевелюре, имела внушительный вид. За столом была Анна Дмитриевна, две неопределенных барыни, важный старик с пушистыми седыми волосами и толстая дама в пенсне - почтенная теософка. Старик же, разумеется, профессор.

Он что-то рассказывал - медленно, длинно, с той глубокой убежденностью, что это интересно всем, какая нередко бывает у недалеких людей.

- Я тогда же сказал Максиму Ковалевскому: Максим Максимыч, нам, как русским ученым, представителям молодой русской науки на западе, не пристало выступать с какими-то - passez moi le mot! - мистическими сверхиндивидуалистами, чуть не спиритами, ну-те-с, и тому подобное. Он согласился. В тот же день мы завтракали у Габриэля Тарда. Был лорд Крессель, Брандес, я и, представьте...

Знакомое чувство раздражения прошло по спине Антона. "А может, он и врет все, и никакого лорда там не было, да и его самого никто в Париже не знает".

Старик не весьма был доволен, что его прервали, не глядя поздоровался,- и, плавно вторя себе рукой с пухлыми пальцами, которые собирались в горсточку, продолжал о завтраке у Тарда. В закате розовели его седые виски; блестел массивный золотой перстень на указательном пальце.

- Давно не заглядывал,- сказала Наталья Григорьевна Антош. наливая СМВ чаю,

- Меня в Москве не было,-- ответил он глухо и слегка покраснел.

- Ты Машуру не ранее чем через час увидишь,- продолжала она.-- Да и то ненадолго. У них сегодня собрание. "Белый Голубь".

Антон ничего не ответил. Он сидел хмуро, помешивал ложечкой и опять был подавлен тоской: опять ему казалось, что напрасно он пришел сюда: ничего, кроме унижения, не вынесешь, да еще слушай речистого старика.

Вошел Ретизанов, в изящном жакете и с цветком в петлице.

Простите, что гак (грубо, резко и т. п.) выражаюсь (франц.).

352

В это время почтенная теософка, напоминавшая английскую даму хорошего общества, со спокойствием верующего и образованного человека рассказывала соседке о лунной манvantаре и солнечных питрисах. Она приводила точные выражения Анны Безант. Тон ее был таков, что это нисколько не менее очевидно, чем лекции Ковалевского, завтрак у Тарда. Профессор же продолжал свое.

Ретизанов поцеловал руку Натальи Григорьевны и улыбнулся.

- Все по-прежнему, - сказал он, - Наталья Григорьевна занимает золотую середину, а на флангах кипит бои.

- Это только значит, - внушительно заметила она, - что я терпима к чужим мнениям. Терпимость основывается на культуре. А уж середина я или нет, позвольте знать мне самой.

Она слегка вз战новалась, и на старческих щеках выступили красноватые пятна. Ретизанов смущился.

- Нет, я совсем не в том смысле...

Но она уже не слушала. Решив, что особой воспитанностью никогда он не отличался, Наталья Григорьевна заговорила с Антоном.

Впрочем, Ретизанов и сам отвлекся. Профессор доказывал, что Достоевский, как человек душевнобольной, развратный и реакционно мысливший, недостоин того ореола, какой создался вокруг его имени в некоторых (он строго оглянулся присутствовавших) кружках.

- На одном обеде литературного фонда, - это было давно, я собирали еще тогда материал по истории хозяйства при Меровингах, для диссертации, где поддерживал Бюхера против Эдуарда Мейера, - так вот с покойным Николаем Константиновичем Михайловским прямо указал мне - мы сидели рядом, - что талант Достоевского есть не более как гигантская проекция свойств жестокости, сладострастия и истерии. В своей известной статье он определил этого писателя как жестокий талант.

- А скажите, - вдруг спросил Ретизанов, - когда вы читаете "Идиота", то чувствуете вы некоторую атмосферу, как бы ультрафиолетовых лучей всюду, где появляется князь Мышкин? Такая нематериальная фосфоресценция...

- Я скорее сказала бы, - заметила теософка, - что внутренний и, конечно, нематериальный свет этого романа - бледно-зеленоватый. Свет, несомненно, эфирный.

Профессор развел руками и заявил, что ничего подобного он не видит и не встречал таких утверждений в критике.

- Впрочем, - прибавил он, - я и вообще нахожу, что между мною и некоторыми из присутствующих есть коренное расхождение в мировоззрениях. Я считаю, что Макс Нордау был совершенно прав, утверждая...

- Да неужели вы можете говорить о Нордау? - почти закричал Ретизанов. - Макс Нордау просто болван...

После этого профессор недолго уже сидел. Он поцеловал руку Натальи Григорьевны и

сказал, что рад будет встретиться с ней в

353

Литературном Обществе, где она должна была читать доклад "К вопросу о влиянии Шатобриана на ранние произведения Пушкина".

Когда стариk уехал, Ретизанов, смущенно улыбаясь, спросил ее:

- Откуда вы достаете таких дубов?

На этот раз Наталья Григорьевна не рассердилась. Она доказывала, что профессор вовсе не дуб, а человек иного поколения, иных взглядов.

Антон поднялся, незаметно вышел. Рядом с прихожей была приемная, маленькая комната, вся уставленная книгами. В нее надо было подняться на ступеньку. Дальше шла зала, и в глубине настоящий, большой кабинет Натальи Григорьевны. Антон сел в мягкое кожаное кресло. Виден был двор, залитый голубоватой луной. Наверху, в комнате Машуры, слышались шаги, голоса. Антон положил голову на подоконник. "Они решают там взвышенные вопросы, а я умираю здесь от тоски,- думал он.- От тоски, вот в этом самом лунном свете, который ложится на подоконник и обливает мне голову".

Он сидел так некоторое время, без мыслей, в тяжелой скованности. "Нет, уйду,- решил он наконец.- Довольно!" В это время движение наверху стало сильнее, задвигали стульями. Он прислушался. Через минуту раздались шаги по лесенке, ведшей сверху;

вся она как бы наполнилась спускавшимися, послышались молодые голоса. Почти мимо его двери все прошли в переднюю; там опять смеялись, разбирали одежду, шляпы, перчатки. Затем хлопала парадная дверь, с каждым разом отрезая часть голосов. Наконец стало тихо. Знакомой, легкой поступью прошла Машура. "Ну вот, теперь она пойдет в столовую и будет там сидеть с матерью и Ретизановым".

Было уже ясно, что она уходит, но Антон медлил, не мог одолеть тяжелой летаргии, в которой находился.

Вдруг те же, но возвратные, теперь веселые шаги. Он встал и со смутно бьющимся, замирающим сердцем двинулся к двери. В лунных сумерках навстречу вбежала Машура, легко вспрыгнула на ступеньку и горячо поцеловала.

- Ты? - смеялась она.- Ты, я знала, что ты придешь! Что ты тут делаешь? Один! Какой чудак!

- Я...- сказал Антон,- уж собрался уходить... ты была занята.

Машура захохотала.

- Почему ты такой смешной? Ты какой-то замученный, растерянный. Погоди, дай на тебя посмотреть...

Она взяла его за плечи, подвела к окну, где от луны было светлее.

- Я,- говорил он растерянно,- я, видишь ли, столько времени у вас не был... я уезжал из Москвы...

Она глядела ему прямо в небольшие глаза; в них стояли сле

354

зы. Волосы его вихрились, большой лоб был влажен. На виске сильно билась вена.

Глаза Машуры блестели.

- Ты похож на Сократа, - вдруг зашептала она,- ты страшно мил, настоящий мужчина. Я знала, что ты придешь, и придешь такой...

Она сжала его руки.

Антон опустился на скамеечку у ее ног, прижал к глазам ее ладонь.

-- Если б ты знала, как я... все это время... - твердил он сквозь слезы.- Если бы знала...

Около девяти Антон, с просохшими, сияющими в полумгле глазами, ходил из конца в конец залы, пересекая лунные прямоугольники, облекавшие его светом.

Из кабинета вышла Наталья Григорьевна; она была теперь в светлом вечернем платье, с иными бриллиантами.

- Ну, милый,- сказала она Антону,- иди, торопи Машуру. Лошадь подали.

Плохо соображая, как в тумане подымался Антон по витой лесенке.

- Можно? - спросил он глоухо, входя.

- Погоди минутку.

Раздался смех Машуры, мелькнуло голое, смуглого- персиковое плечо, и веселый голос ответил из-за портьеры:

- Теперь можно. Но сюда не входи.

Антон сел и сказал, что Наталья Григорьевна ждет,

- Сейчас, сейчас... Мама вечно боится опоздать.

За портьерой шуршали, слышно было, как горничная застегивает кнопки. В комнате было тепло, пахло духами и еще чем-то, чего не мог определить Антон, что вызывало в нем легкий озноб.

Когда Машура вышла, в белом платье, оживленная с темно-сверкающими глазами на остроугольном лице, она показалась ему прекрасной. Худенькой рукой приколола она себе красную розу.

Горничная ушла.

- Ты прелестна,- тихо сказал Антон.

Она улыбнулась.

Антон проводил их и остался в доме; еще некоторое время. Не хотелось уходить, расставаться с комнатами, полными голубоватого лунного дыма - где неожиданно пришла к нему Машура. И, вновь переживая все, ходил он по зале из угла в угол.

IX

За ночь выпал снег. В комнатах посветлело, воздух сразу стал вкусный, днем острый и прозрачный, к сумеркам синеющий. Деревья резче чернели на белизне. Извозчики плелись бесшумно:

шапки, полости у них белели. И веселей орали вороны на бульваре, слетая с веток; вниз сыпался за ними снежок.

Анна Дмитриевна сидела в небольшом своем кабинетике у письменного стола, с пером в руке. В окно глядел бульвар, запущенный снегом, от подоконника шел ток теплого воздуха, теплел был пуховой платок на плечах и мягок ковер, занимавший всю комнату. Над диваном - nature morte' Сапунова, вариант красных цветов.

"Во всяком случае, так дальше продолжаться не может,- писала она твердым, крупным почерком - он казался лишь частью всей ее статной фигуры.- Какая бы я ни была, вы должны понять, что всему есть предел. Вы знаете, чем были для меня все это время. Пред вами я мало в чем виновата. Но вы - ваше поведение я совсем перестаю понимать. Для меня деньги - ничто. Для вас - все. Сколько раз я вас выручала - вы знаете. И то знаете, как издевались вы надо мной, среди пьяных товарищней, грязнили мое к вам чувство. Все вам сходило. Но то, что теперь выяснилось... Я не могу даже написать того слова, какое следует. Хочу вас видеть и спрошу прямо. Завтра я на балете, бельэтаж, ложа № 3. Буду ждать". Она подписалась одной буквой, вложила в конверт и надписала:

"Дмитрию Павловичу Никодимову".

Только что велела она отослать письмо, как в комнату вошла, не снимая бархатной шляпы, невысокая дама еврейского вида, с огромными подкрашенными глазами - Фанни Мондштейн. Она была очень шикарна, в новом тысячном палантине. Бурый мех блестел снежинками.

- Голубчик,- сказала она быстро, целуя Анну Дмитриевну и распространяя запах "Rue de la Paix"2,- я к тебе на минутку. Завтра выступает Ненарокова, дебют, я обязательно должна быть. Идиот Ладыжников напутал, как всегда, билетов нет, представь, я непременно должна быть, ведь Ненарокова танцует вместо Веры Сергеевны, тут, понимаешь, отчасти интриги, отчасти борьба молодого со зрелым. Конечно, ей до Веры Сергеевны...великая ар-тистка, и начинающий щенок... Но я обещала быть, а получается чепуха...

Фанни подняла вуаль и обнаружила лицо не первой свежести, подкрашенное, с черными, очень красивыми глазами. Фанни живо закурила, и мгновенно стало ясно, в чем дело: о Ненароковой она должна была дать отчет Вере Сергеевне и хотела попасть в ложу Анны Дмитриевны.

- Ну конечно, ну да,- говорила Анна Дмитриевна,- о чем тут разговаривать? Я очень рада. Ты покажешь мне разные fouettes3

- Милун, но разве Ненарокова может сделать что-нибудь подобное?

Фанни встала и с серьезным, как бы убежденным лицом подошла к Анне Дмитриевне.

Натюрморт (франц.).

"Улица Мира" (франц.) - название старых французских духов.

Фуэте (франц.) - па в классическом танце.

- Вере Сергеевне приходилось делать тридцать пять fouettes подряд, этого никто не может в России, кроме нее. Но ведь и сама она - прелесть. Одни ее выражения... Ты думаешь, она завидует этой Ненароковой? Ни капли. Она мне говорит: "Вы понимаете, ведь это надо сделать, эту роль! Вы, кажется, уже начинаете меня понимать? Этот балет - чистейший экзот, его надо почувствовать. Вот, по вашему лицу я вижу". Нет, Вера Сергеевна замечательный художник, порох и дитя, восторженная, увлекающаяся душа.

Фанни сама увлеклась, сняла шляпу и стала рассказывать о Вере Сергеевне.

Фанни была в нее несколько влюблена - влюбленностью театральной поклонницы. Она принадлежала к "партии" Веры Сергеевны: неизменно бывала на ее выступлениях, бешено вызывала, бегала к ней в уборную, защищала от врагов, исполняла мелкие поручения и помогала в сердечных делах.

Нет, ты понимаешь, у нее совсем особенный язык: если за ней кто-нибудь ухаживает, она называет это наверт.

Анна Дмитриевна засмеялась.

- А правда, что одну свою соперницу она избила ногами?

- Фу, глупости! Ну, если бы захотела... - ноги у нее стальные, убить, я думаю, может. Все-таки это клевета...

- Фанни,- спросила вдруг Анна Дмитриевна,- тебя бил когда-нибудь мужчина?

Фанни вскочила и захохотала.

- Во-первых, милая, у меня нет такого властелина и не будет, надеюсь. Да, но тогда скорее можно спросить, не била ли я кого... Правда, у меня ноги не такие, как у Веры Сергеевны, но все же... вот этой рукой я могу, конечно, дать пощечину негодяю, который покусился бы на мою девственность.

Она повалилась на диван и опять захохотала. Анна Дмитриевна тоже смеялась. Потом Фанни поднялась, оправила палантин и стала прощаться.

- Голубь, значит, до завтра. Бельэтаж, третий номер... буду помнить... третий номер. Целую тебя.

Проводив ее, Анна Дмитриевна медленно возвращалась через залу. Проходя мимо большого бехштейновского рояля, она приподняла его крышку и взяла несколько нот на клавиатуре. Смутная тягость была у нее на сердце. Она вздохнула и сразу же вспомнила. Эти самые звуки, такой же белый день, рояль, зала, похожая на ЭТУ, и она сама, еще совсем молодая, недавно замужем. Так же она брала несколько нот, а он вышел из той двери. Шел он молча. Лицо было красное. Потом молча же. со всего маху ударили ее по щеке.

Крышку она захлопнула, быстро вышла. "Дурная жизнь, распущенная, скверная жизнь,-твердила она, уже у себя в кабинете, ходя взад-вперед по мягкому ковру.- Я ему продалась и изменяла, а он бил меня, как молодую кобылу. Как была дурная, так и осталась. Что же, сама каталась с офицерами по ресторанам,

357

обманывала его и пожинала лавры собственной жизни. А разве и сейчас... что ж, по-своему и Дмитрий прав, считая меня... бабой, которая может платить его долги. Он хорош, но и я..."

Она опять прошлась и остановилась у большой, под стеклом. фотографии со старинной картины. Справа и слева от озера большие купы дерев, темных, кругловатых; какая-то башня: далекие горы за озером, светлые облака; на переднем плане танцует женщина с бубном и мужчина: пастух, опершись на длинный посох, смотрит на них: на траве, будто для беззаботной пирушки, расположились люди. женщина с ребенком, тоже смотрят. Лодки плывут по бледному озеру. И кажется, так удивительно ясна, мечта-тельна и благосклонна природа; так чисто все. Так дивно жить в этой башне у озера, бродить по его берегам, любоваться нежными, голубоватыми призраками далеких гор.

Анне Дмитриевне представилось, что если бы она жила в этой стране, то все иное было бы,

и, возможно, она узнала бы ту истинную любовь, высокую и пламенную, которая есть же ведь, наконец!

Завтракала она одна, как обычно. Потом вышла на улицу. Хотелось пройтись. Снег мягко скрипел под ногой, падали белые его хлопья, медленно и беззвучно: что-то вкусное, свежее и острое несли они с собой; и, оседая на ветвях деревьев, шапочках барышень, усах мужчин, давали белое оперение, называемое зимой.

Анна Дмитриевна шла по Арбату и думала, что любой извозчик, трусцой плетущийся в Дорогомилово, или курсистка, бегущая с лекций, более правы и прочны,-- может быть, даже счастливы, чем она, живущая в своем особняке и трятащая тысячи. Пройдя по Воздвиженке, вышла она на МОХОВЫЮ, обогнула Манеж.. направилась вдоль решетки Александровского сада. Начинало смеркаться. Смутно синел снег за оградой, летали вороны, высокие башни в Кремле УХОДИЛИ во мглу. Зажигались золотые фонари. С сердцем, полным печали, тягости, Анна Дмитриевна подошла к Иверской, знаменитому палладиуму Москвы - часовне, видевшей на своих ступенях и царей, и нищих. Купив свечку, взошла, зажгла ее и поставила перед Ликом Богородицы, мягко сиявшим в золотых ризах. Кругом -- захудалые старушки, бабы из деревень; ходил монах с курчавой бородой, в черной скуфейке. Плакали, вздыхали, охали. Ближе к стене Музея занимали места те, кто устраивался на ночь. Ночевали здесь по обету, чтобы три или десять раз встретить ту икону Богоматери, которую возят по домам и которая возвращается поздно ночью. Здесь служится молебен. И невесты, желающие доброй жизни в замужестве, матери, у которых больны дети, жены, неладно живущие с мужьями. мерзнут здесь зимними ночами, когда лихие голубки уносят из Большой Московской к Яру разгулявшихся господ.

Анна Дмитриевна стала на колени, перекрестилась, глаза ее наполнились слезами. Еще девочкой, когда сильно пил и бушевал отец, бегала она потихоньку на эти, снежные сейчас, плиты и па

358

ценный пятак ставила свечку "Укротительнице злых сердец".

- Страйся, милая, страйся,- говорила рядом старушонка, с глубоко запавшим ртом, в кацавейке, из числа тех, что неизвестно откуда берутся на похоронах, свадьбах и молебнах.- Она, Матушка-Заступница, все видит, всяческое усердие ценит.

Подошел рыжий извозчик, немолодой; тоже поставил свечу, снял шапку и бухнулся на колени. Быть может, молился он о захромавшей лошади или чтобы овес подешевел. А возможно, и его вела та же тоска, что и Анну Дмитриевну.

Оттого ли, что поплакала, или правда в золотом сиянии Богородицы был мир, но она поднялась облегченная, как бы овлажненная. Стряхнув снег, приставший к подолу, вздохнула и стала спускаться со ступеней. Несколько нищих потянулись к ней. Она сунула им. И медленно пошла к Большому театру.

В хмурых сумерках высился он темной громадой; Мюр и Мерилиз сиял, насквозь пронизанный светом; золотые снопы ложились от него на снег. Анна Дмитриевна шла наискось через площадь, по тропинке, только что проложенной. И почти столкнулась с Христофоровым. Он был в меховой шапке, запущенный снегом, с побелевшими усами. Увидев ее, улыбнулся и остановился, кланяясь.

- Голубчик вы мой, милый человек! - чуть не вскрикнула Анна Дмитриевна.- Что тут делаете?

- Гуляю,- ответил он.- У меня нет цели.

- Гуляю! Так себе просто и гуляет, сам не зная зачем! Ну, тогда пойдемте со мной, проводите, мне тоже некуда...

Она взяла его под руку, и медленно, разговаривая, они побрали. Ей, правда, почему-то приятно было его встретить. Настроение подымалось. Они прошли по Кузнецкому, разглядывая витрины. У Сиу пили шоколад, рассматривали модных барынь, смеялись. Было светло, пахло духами, сигарами. Белели воротнички мужчин. Горели бриллианты.

Анна Дмитриевна пригласила Христофорова на другой день на балет, к себе в ложу.

Х

Есть нечто пышное в облике зрительного зала Большого театра:

золото и красный шелк, красный штоф. Тяжелыми складками висят портьеры лож с затканными на пурпуре цветами, и в этих складках многолетняя пыль; обширны аванложи, мягки кресла партера, холодны и просторны фойе, грубовато-великолепны ложи царской фамилии и походят на министров старые капельдинеры, лысые, в пенсне, в ливреях. Молча едят друг друга глазами два истукана у царской ложи. Дух тяжеловатый, аляповатый, но великодержавный есть здесь.

Христофоров, явившийся в ложу первым и одиноко сидевший у ее красно-бархатного барьера, чувствовал себя затерянным в огромной, разодетой толпе. Театр наполнялся. Входили в партер,

359

непрерывное движение было в верхах, усаживались в ложах; кое-где направляли бинокли. Над всем стоял тот ровный, неумолчный шум, что напоминает гудение бора - голос человеческого множества. Человечество затихло лишь тогда, когда капельмейстер, худой, старый человек во фраке, взмахнул своей таинственной палочкой, и за ней взлетели десятки смычков того удивительного существа, что называется оркестром. Загадочно, волшебством вызывали они новую жизнь: н помимо лож, партера и публики в театре появилась Музыка. Поднялся занавес, чтобы в безмолвном полете балерин дать место гению Ритма.

Анна Дмитриевна явилась вовремя. Фанни немного опоздала. Фанни была еще сильней подкрашена. Она уселась рядом с Христофоровым с видом деловитым, уверенным; оглядела залу, оркестр, сцену, как бы проверяя, все ли в порядке. Иногда, рассматривая балет, вдруг наклонялась к Анне Дмитриевне и шептала:

- Взгляни на Козакевич. Летом в Крыму нарочно загорала, и третий месяц загар с рук и с плеч не сходит. Крайняя справа - Семенова. Как мила! Ты понимаешь, одна простота, никаких фанаберии, настоящая добросовестная работа.

Анна Дмитриевна улыбалась ей глазами, но была сдержанна, одета в черном, несколько бледна. Дышала не вполне ровно. К концу акта дверь в аванложу отворилась, звякнули шпоры. Занавес побежал вниз. Стало светлее, зааплодировали. Никодимов, худой, с правильным пробором и белыми аксельбантами, подошел к Анне Дмитриевне, поцеловал руку. Вид он имел измученный; глаза его угрюмо темнели. Он вынул надушенный платочек и разгладил усы.

- Бог мой,-- сказала Фанни,- не узнаю вас, дорогой.

- Я нездоров,- ответил Никодимов.- У меня невралгия лицевых нервов. Я очень дурно сплю по ночам.

- Ax, pauper enfant!

Фанни засмеялась и стала показывать Христофорову знамени-и4io коннозаводчика, сидевшего в первом ряду.

-- Вы меня звали,- сказал Никодимов тихо Анне Дмитриевне,- я пришел, несмотря на нездоровье.

Она вздохнула, прошла в аванложу и села на диван. Заложив ногу на ногу, подрагивая носком лакированной туфли, вертела она в руке лорнет. Наконец, как бы пересилив себя, сказала:

- Правда ли, что вы подделали мою подпись? Никодимов сложил руки на коленях и глядел вниз.

- Я отдаю вам эти деньги, очень скоро. Я сейчас в большом выигрыше. А тогда нужны были, чрезвычайно. Анна Дмитриевна помолчала.

- Правда ли, что за вами какое-то темное дело... По части нравственности? И еще, у вас живет... Такой юноша?

Несчастный ребенок (франц.).

- Не беспокойтесь, на скамье подсудимых меня вы не увидите. Вас не скомпрометирую.

- Дело не во мне,- ответила она глухо,- дело в том, что вы окончательно гибнете.

- Это возможно. Возможно, что окончательно я выхожу из числа так называемых порядочных людей.

В зрительном зале стемнело, поднялся занавес. Сцена представляла мастерскую кукольного мастера. Несколько кукол сидели недвижно. С легкими подругами прокрадывалась сюда Коппелия. После мимических сцен являлся хозяин, испуганные гости разбегались.

- Недурна,- говорила Фанни Христофорову,- Коппелия недурна, но и только. "Как бы разыгранный Фрейшиц перстами робких учениц". Если б Веру Сергеевну в этой роли видели! Ну, что она выделяет!

В это время в аванложе Никодимов говорил:

- Я никогда не понимал, чем виноват так называемый безнравственный человек, что он родился именно таким. Почему вы брюнетка, а не блондинка? Много приятнее быть симпатичным и добрым, жить в почете, довольстве, уважении,- чем путаться в долгах, ощущать презрение и ждать той же черной дыры, куда все сваливаются. Скушать, болеть, завидовать... Нет, мы, порочные, составляющие касту в обществе, вряд ли сойдемся когда-либо с довольными собой. Во все времена были мы отверженными. Так и всегда будет. Разве что со временем люди несколько поумнеют и поймут, что одной благородной позы мало.

- Все стараетесь себя оправдать...

- Ни нравственного, ни безнравственного нет. Есть люди, родившиеся с разными вкусами. Вы любите артишоки, а я ростбиф. Я и есть буду ростбиф, и меня станут называть прохвостом. А все дело в том, что природа или Господь Бог произвели нас на свет с разными вкусами. Свободная воля! Глупость, выдуманная попами.

Никодимов говорил негромко, сидел недвижно, лишь иногда, от боли в виске, страдальчески подергивал глазом.

Анна Дмитриевна смотрела на этого человека, так много взявшего в ее жизни, на его сухие пальцы с отточенными ногтями, на перстень с вырезанным черепом и двумя костями, на изможденное, но породистое лицо, и- как бывало нередко-странный смесь обаяния и презрения, нежности и обиды, пронзительной жалости и отвращения подымалась в ней.

- Ах,- сказала она, задохнувшись,- - чем вы меня взяли?

- Жалостью,- ответил Никодимов.- Вы считаете, что посланы в мою жизнь, чтобы исправить меня. Женщины с добрым сердцем, как вы, нередко чувствуют именно так. Смею вас уверить.

- Замолчите, вы... слышите, замолчите...- шепотом, давясь словами, произнесла Анна Дмитриевна. Она закрыла глаза платочком, откинулась на диван. Влево темнел треугольник между

361

портьерой. Там был полумрак гигантского театра, тысячи голов и глаз, направленных на сцену.

Коппелия танцевала длинное и трудное adagio'. Фанни впивалась в каждое ее движение. Временами бормотала: "Молодец! Для нее-даже хорошо!" Упираясь в пол носком, рукой придерживаясь за высоко поднятую руку партнера, Коппелия вся вытянулась горизонтально, слегка колебля другой ногою, как хвостом рыбы,- и медленно, легко и изящно описывала полный круг. Adagio имело успех. Коппелия выпорхнула и раскланялась - с той нечеловеческой легкостью, которая поражает в балете.

- Таланта у нее мало,- судила Фанни,- но работа большая. Очень изящно. Это и говорить нечего.

Анна Дмитриевна видела только конец третьего акта. Ансамбли, дуэты, соло бессвязно проносились перед глазами. Фанни разбирала всех по косточкам. Одна отяжелела - известная немолодая балерина с дивными ногами; другая великолепна по темпераменту, но не вполне строгого вкуса. Третья - вся создана покровительством.

- Фанни хочет сделать из вас балетомана,- сказала Анна Дмитриевна Христофорову, через силу улыбаясь.- У вас голова кругом пойдет, коли будете слушать.

- Что ж, это очень интересно,- ответил Христофоров.

- Не взыщите, голубок,- моя слабость! Чем я виновата, если балет меня восхищает? Посмотрела - точно бутылку шампанского выпила.

Когда, по окончании, все спускались к выходу, Христофоров обратился к Анне Дмитриевне:

- Я очень благодарен, что вы меня взяли.

- Вы что ж,- ответила Анна Дмитриевна,- вообще, кажется, становитесь светским человеком? Фрак бы еще на вас нацепить да вывести на бал.

Христофоров засмеялся, поглаживая свои усы.

- Во фраке мне действительно неподходяще. Светскость... ну, какая же! Но, конечно, я ценю новые впечатления, даже очень ценю,- прибавил он серьезнее.- Я хотел бы очень много видеть, как можно больше.

У выхода, под гигантскими колоннами портика, Фанни пригласила их к себе ужинать.

Христофоров сначала замялся, потом согласился.

- У меня есть вино,- сказала Фанни.- Разумеется, дареное, прибавила она и захочотала.

Зимней, свежей ночью, при блеске огней из Метрополя, шли они вверх, к Лубянской площади. Миновали лубянский фонтан, старую, красную церковку Гребневской Божией Матери, прежний застенок, и вышли на Мясницкую - улицу камня, железа, зер

' Адажио-медленная часть в классическом танце {итал.}. 362

кальных витрин с выставленными двигателями, контор, правлений и немцев.

Фанни снимала огромную квартиру в Армянском переулке. Была она запутанного, сложного устройства, с бильярдной комнатой, полутемной столовой, огромной гостиной, не менее чем тремя спальнями. Старинные, дорогие вещи стояли вперемежку с рыночными; в гостиной сомнительные картины; в общем, дух безалаберной, праздной и веселой жизни.

- Ну, для чего тебе, например, бильярд? - спрашивала Анна Дмитриевна, стоя с кием у освещенного низкой лампой бильярда. Христофоров с улыбкой перекатывал белые шары.

- Как зачем? А захочу играть? Вот, младенца этого обучу этому ремеслу.- Она кивнула на Христофорова и захочотала.- Лена,- крикнула она горничной,- скорее ужинать! Сейчас, переоденусь только. Одна минута.

И она выбежала, на своих коротковатых, резвых ногах.

- Фанни живой человек,- сказала Анна Дмитриевна,- неунывающий. В клубе ночами в карты дуется, поспит часа два, и как рукой сняло, опять весела, в кафе, в концерт, куда угодно.

Когда их позвали в столовую, Фанни в капоте, заложив ногу на ногу, сидела у телефона. Она заканчивала отчет о спектакле.

- Успех - да, средний, но да. Adagio прямо понравилось. В общем, это, конечно, серединка... понимаете, дорогая моя... От настоящего, большого искусства, как у вас, ну...- бесконечность.

Фанни кормила их недурным ужином. Не обманула и насчет вина. Была в очень живом настроении и рассказывала о студенческих сходках 1905 года. "Товарищи,-- кричала она и хотела простодушно,- не напирайте, товарищ Феня родит!" "Товарищи, не курите, ничего не слышно!" Затем изображала еврейские анекдоты, с хорошим выговором.

Анна Дмитриевна пила довольно много. Фанни подливала. Ее собственные, подкрашенные глаза блестели.

-- Пей,- говорила она, - вино мне подарили, не жаль. А тебе надо встрихнуться. Ты мне не н'дравишься последнее время. Не н'дравишься,- язык ее склонен был заплетаться.- Плюнь, выпьем.

После ужина перешли в будуар. Затопили камин. Фанни принялась полировать себе ногти.

- Алексей Петрович, милый вы человек,- вдруг сказала Анна Дмитриевна, взяла его за руки ч припала на плечо горячим лбом,- что же делать? как существовать? Ангел, мне вся я не н'дравлюсь, с головы до пят, все МБ! развращенные, тяжелые, измученные... На вас взгляну, кажется: он знает! Он один чистый и настоящий...

Христофоров смущился.

- Почему же я...

Если вы такой, - продолжала Анна Дмитриевна, - то должны знать, как и что... где истина.

363

- Об истине, - ответил он, не сразу, - я много думал. И о том, как жить. Но ведь это очень длинный разговор... и притом, мои мысли никак нельзя назвать... объективными, что ли. Может быть, только для меня они и хороши.

Анна Дмитриевна глядела на танцующее, золотое пламя в камине.

- Все-таки скажите ваш устой, ваше главное... понимаете, - я же не умею выражаться. Христофоров улыбнулся.

- Вот и история... Мы были в балете, пили шампанское, смеялись, и вдруг дело дошло до устоев. Анна Дмитриевна вспыхнула.

- Смешно? Считаете меня за вздорную бабу?

- Нисколько, - тихо и серьезно ответил Христофоров. - Я хочу только сказать, что многое сплетается в жизни причудливо. К вам, Анна Дмитриевна, я отношусь с симпатией. Многое родственно мне, думаю, в вашей душе. Поэтому, именно лишь поэтому, я скажу вам один свой устой, как вы выражаетесь.

Христофоров помолчал.

- Мне почему-то приходит сейчас в голову одно... О бедности и богатстве. Об этом учил Христос. Его великий ученик, св. Франциск Ассизский, прямо говорил о добродетели, мимо которой не должен проходить человек: *sancta povertade*, святая бедность. Все, что я видел в жизни, все подтверждает это. Воля к богатству есть воля к тяжести. Истинно свободен лишь беззаботный, вы понимаете, лишенный связей дух. Вот почему я не из демократов. Да и богачи мне чужды.

Он улыбнулся.

- Я не люблю множества, середины, посредственности. Нет ничего в мире выше христианства. Может быть, я не совсем его так понимаю. Но для меня это аристократическая религия, хотя Христос и обращался к массе. Моя партия - аристократических нищих.

- Фанни, - сказала Анна Дмитриевна, - слышишь? "Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Небесное"! Это про нас с тобой.

- Давно известно, - ответила Фанни, зевнув, - и не в моем духе. Богатство есть изящная оправа жизни. Ведь и вы не отказываетесь от моего шампанского.

- Шампанского! Нет, это в высшем смысле, ты не понимаешь. Меня твое шампанское не зальет, если тут у меня болит, здесь, в сердце!

- Оставь, пожалуйста. Эти сердечные томления надо бросить для неврастеников, а самим жить, пока молоды. Ведь и Алексей Петрович же жизнь ценит.

Христофоров подтвердил. Только добавил, что бедность вовсе не мешает любить жизнь, а, быть может, делает эту любовь чище

364

и бескорыстнее. Анна Дмитриевна резко стала на сторону Христофорова. Точно ее это

облегчало.

- Ну и отлично,- сказала в третьем часу Фанни,- продавай свой особняк, раздай деньги бедным и поступай на службу в городскую управу.

Все засмеялись. Так как было поздно, Фанни предложила ночевать у себя. Христофоров сперва стеснялся. Но простой и искренний тон Фанни убедил его. Ему накрыли в дальней комнате, на громадной постели - роскошном детище Louis XV'.

- Вот и спите здесь, поклонник Франциска Ассизского,- сказала Фанни, прощаясь.- Вы увидите, что это гораздо лучше, чем на соломе, в холодной хижине.

Когда она ушла, Христофоров, раздеваясь, с улыбкой, смотрел на резных, красного дерева амуром, натягивавших в него свои луки. Ему вдруг представилось, что вполне за св. Франциском он идти все же не может. Погасив свет, он лежал в темноте, на чистых простынях мягкой постели. "Все-таки, думал он,- слишком я люблю земное". Он долго не мог заснуть. Вспоминался сегодняшний вечер, балет, Анна Дмитриевна, неожиданный ужин, разговор, странное пристанище на ночь. Так и вся жизнь, от случая к случаю, от волны к волне, под всегдашим покровом голубоватой мечтательности. Ему вдруг вспомнилось, как у памятника Гоголю Машура с полными слез глазами сказала, что любит одного Антона. Он вздохнул. Нежная, мучительная грусть пронзила его сердце. Отчего до сих пор, до тридцати лет,- он один? Милые женские облики, к которым он склонялся...- и с некоторой ступени, как сны, они уходили. "А Машура?"

"Одиночество,- говорил другой голос.- Святое или не святое - но одиночество".

Он засыпал.

XI

Довольно долго после встречи с Антоном осенью Машура считала, что ее сердечные дела прочны. Антон был так кроток, предан, такое обожание выдавали его небольшие глаза, какое бывает у людей самолюбивых и уединенных. И Машуре с ним казалось легко. "Этот не выдаст,- думала она.- Весь действительно мой". Она улыбалась. Но незаметно - в сердце оставалась царапина недоговоренное слово, мысль невысказанная.

Раз в разговоре, при ней, Наталья Григорьевна назвала одного знакомого, служившего в банке:

- Отличный человек. Типа, знаете ли, семьянина, абсолютного мужа.

Она даже засмеялась, довольная, что нашла слово.

- Именно, это абсолютный муж.

Людовик XV (франц.).

Хотя к Антону эти слова не относились, все же Машуре, почему-то, были неприятны. "Какие глупости,- говорила она себе.- Разве Антон в чем-нибудь похож на этого банковского чиновника? Абсолютный муж!" Но и самой ей казалось странным, что об Антоне она мало думает. Когда он приходит, это приятно, даже ей скучно, если его нет. Все же... Не совсем то.

Однажды, возвращаясь с ним по переулку, морозной ночью, Машура вдруг спросила:

-- Это какая звезда?

Антон поднял голову, посмотрел, ответил:

- Не знаю.

- Да, ты не любишь...

Машура не договорила, но почему-то смутилась, ей стало даже немного неприятно. Антон тоже почувствовал это.

- Не все ли равно, как называется эта или та звезда? - сказал он недовольно.- Кому от этого польза?

"Не польза, а хочу, чтобы знал",- подумала Машура, но ничего не сказала. А час спустя, раздеваясь и ложась спать, с улыбкой и каким-то острым трепетом вспомнила ту ночь, под Звенигородом, когда они стояли с Христофоровым в парке, у калитки, и рассматривали звезду Вегу. "Почему он назвал ее тогда своей звездой? Так ведь и не сказал. Ах, странный человек, Алексеи Петрович!"

Через несколько дней, незадолго до Рождества, Машура медленно шла утром к Знаменке. Из Александровского училища шеренгой выходили юнкера с папками, строились, зябко подрагивая ногами, собираясь в Дорогомилово, на съемку. Машура обогнула угол каменного их здания и мимо Знаменской церкви, глядящей в окна мерзнувших юнкеров, направилась в переулок. Было тихо, слегка туманно. Галки орали на деревьях. Со двора училища свозили снег: медленно брел старенький артиллерийский генерал, подняв воротник, шмыгая закованными калошами. Машура взяла налево в ворота, к роскошному особняку, где за зеркальными стеклами жили картины. Ей казалось, что этот день как-то особенно чист и мил, что он таит то нежно-интересное и изящное, что и есть прелест жизни. И она с сочувствием смотрела на галок, на запущенные снегом деревья, на проезжавшего рысцой московского извозчика в синем кафтане с красным кушаком.

Теплом, светом пахнуло на нее в вестибюле, где раздевались какие-то барышни. Сверху спускался молодой человек в блузке, с длинными волосами а 1а Теофиль Готье, с курчавой бородкой: вне сомнения, будущий Ван Гог.

По залам бродили посетители трех сортов: снова ХУДОЖНИКИ, снова барышни и скромные стада "экскурсантов, покорно внимавших объяснениям. Машура ходила довольно долго. Ей нравилось, что она одна, вне давления вкусов; она внимательно рассматривала туманно-дымный Лондон, ярко-цветного .Матисса, от которого гостиная становилась светлее, желтую пестроту Ван Гога, примитив Гогена. В одном углу, перед арлекином Сезанна, седой старик

в пенсне, с московским выговором, говорил группе окружавших:

- Сезанна-с, это после всего прочего, как, например, господина Монэ, все равно что после сахара а-ржаной хлебец-с...

Тут Машура вдруг почувствовала, что краснеет: к ней под- ходил Христофоров, слегка покрутивая ус. Он тоже покраснел, неизвестно почему. Машуре стало на себя досадно. "Да что он мне, правда?" Она холодно подала ему руку.

- А я,- сказал он смущенно,- все собираюсь к вам зайти.

- Разве это так трудно? - сказала Машура. Что-то колнуло ей в сердце. Почти неприятно было, что его встретила - иликазалось, что неприятно.

- Меня стесняет, что у вас всегда народ, гости...

"Вы предпочитаете *tete a tête*, как в Звенигороде,- подумала Машура.Чтобы загадочно смотреть и вздыхать!"

Пройдя еще две залы, попали они в комнату Пикассо, сплошь занятую его картинами, где из ромбов и треугольников слагались лица, туловища, группы.

Старик - предводитель экскурсантов, снял пенсне и, помахивая им, говорил:

- Моя последняя любовь, да, Пикассо-с... Когда его в Париже мне показывали, так я думал - или все с ума сошли, или я одурел. Так глаза и рвет, как ножичком чикает-с. Или по битому стеклу босиком гуляешь...

Экскурсанты весело загудели. Старик, видимо не впервые говоривший это и знаяший свои эффекты, выждал и продолжал:

- Но теперь-с, ничего-с... Даже напротив, мне после битого стекла все мармеладом остальное кажется... Так что и этот портретец,- он указал на груду набегавших друг на друга треугольников, от которых, правда, рябило в глазах,- этот портретец я считаю почище Моны Лизы-с, знаменитого Леонардо.

- А правда,- спросил кто-то неуверенно,- что Пикассо этот сошел с ума?

Машура вздохнула.

- Может быть, я ничего не понимаю,- сказала она Христофорову,- но от этих штук у меня болит голова.

- Пойдемте,- сказал Христофоров,- тут очень душно. Его голубые, обычно ясные глаза правда казались сейчас утомленными.

Спустившись, выйдя на улицу, Христофоров вздохнул.

- Нет, не принимаю я Пикассо. Бог с ним. Вот этот серенький день, снег, Москву, церковь Знамения - принимаю, люблю, а треугольники - Бог с ними.

Он глядел на Машуру открыто. Почти восторг светился теперь в его глазах.

- Я вас принимаю и люблю,- вдруг сказал он. Это вышло так неожиданно, что Машура засмеялась.

С глазу на глаз, наедине (франц.). 367

- Это почему ж?

Они остановились на тротуаре Знаменского переулка.

- Вас потому,- сказал он просто и убежденно,- что вы лучше, еще лучше Москвы и церкви Знамения. Вы очень хороши,- повторил он еще убедительней и взял ее за руку так ясно, будто бесспорно она ему принадлежала.

Машура смущалась и смеялась. Но ее холодность вся сбежала. Она не знала, что сказать.

- Ну, идем... Ну, эта церковь, и объяснения на улице... Я прямо не знаю... Вы, какой странный, Алексей Петрович.

На углу Поварской и Арбата, прощаясь с ней, он поцеловал ей руку и сказал, глядя голубыми глазами:

- Отчего вы ко мне никогда не зайдете? Мне иногда кажется, что вы на меня сердитесь... Но, право, не за что. Кому-кому,- прибавил он,- но не вам.

Машура кивнула приветливо и сказала, что зайдет.

Она шла по Поварской, слегка шмыгая ботиками. Что-то веселое и острое владело ею. "Ну, каков, Алексей Петрович! Вы очень хороши, лучше Москвы и церкви Знамения!" Она улыбнулась.

Дома все было как обычно. В зале стояла елка, которую Наталья Григорьевна готовила ко второму дню Рождества, для детей и взрослых. Пахло свежей хвойей, серебряные рыбки болтались на ветвях. Машура поднялась к себе наверх. В комнатах ее тепло, светло и чисто, все на своих местах, уютно и культурно. Она молода, все интересно, неплохо... Машура села в кресло, заложила руки за голову, потянулась. В глазах прошли цветные круги. "Ах, все бы хорошо, отлично, если б... Господи, что же это такое? А? -Стало жутко почему-то, даже страшно.- Что же, я врала Антону? Ну зачем, зачем?..-Острое чувство тревоги и тоски наполнило ее.- Почему все так выходит? Разве я..." Все смешалось в ней, то ясное, утреннее ушло и сменилось сумбуром. Кто такой Христофоров? Как он к ней относится? Что значит его отрывочные, то восторженные, то непонятные слова? Может быть, все это - одна игра? И как же с Антоном? На нее нашли сомнения, колебания. Она расстроилась. Даже слезы выступили на глазах.

Завтракала она хмурая, в сумерках села к роялю, разбиная вещицу Скрябина, которую слышала в концерте. Но там было одно, здесь же выходило по-другому.

Пришел Антон. Слегка сутулясь, как обычно, он подал ей холодную с мороза руку и сказал:

- Это Шопен? Помню, слышал. Только ты замедляешь темп.

- Вовсе не Шопен,- сухо ответила Машура. "Он уверен, что все знает, и музыку, и искусство,- подумала она недружелюбно,- удивительное самомнение!"

- Да, значит, я ошибся,- сказал Антон, покраснев,- во всяком случае, темп ты чрезмерно замедляешь. Машура взглянула на него.

- Я просто плохо читаю ноты.

Он ничего не ответил, но чувствовалось, что остался недоволен.

- Я была нынче в галерее,- сказала Машура, кончив и обернувшись к нему.

- Не знал. Я бы тоже пошел. Отчего ты мне не сказала?

- Просто встала утром и решила, что пойду. В пять часов они пили чай одни - Наталья Григорьевна уезжала в комитет детских приютов, где работала. Отрезая себе кусок soupe anglaise', Антон сказал, что, по его мнению, все эти кубисты, футуристы, Пикассо - просто чепуха, и смотреть их ходят те, кому нечего делать. Машура возразила, что Пикассо вовсе не чепуха, что в галерее ходят много художников и понимающих в искусстве. Например, там встретила она Христофорова.

- Христофоров понимает столько же в живописи, сколько Наталья Григорьевна в литературе,- вспыхнув, ответил Антон. Машура рассердилась.

- Мама в десять раз образованнее тебя, а ругать моих знакомых - твоя обычная манера.

Антон заволновался. Он ответил, что в этом доме ему давно тесно и душно; что, если бы не любовь к Машуре, он бы здесь никогда не бывал, ибо ненавидит барство, весь барственный склад, и действительно не любит их знакомых.

В его тоне было задевающее. Машура обиделась, ушла наверх. Но Антон погружался в то

состояние нервного возбуждения, когда нельзя остановиться на полуслове; когда нужно говорить, изводить, чтобы потом в слезах и поцелуях помириться, или же резко разойтись. В ее комнате стал он доказывать, что не уверен, любит ли она его по-настоящему, и, во всяком случае, если любит, то очень странно.

Машура сказала, что ничего странного нет, если она случайно встретила Христофорова. Разговор был длинный, тяжелый. Антон накалялся и к концу заявил, что теперь он видит, - во всяком случае, Машура дитя своего общества, которое ему ненавистно и где, видимо, иные понятия о любви, чем у него. Тогда она сказала, что Христофоров звал ее к себе и что она пойдет.

- Это гадость, понимаешь, мерзость! - закричал Антон. - Ты делаешь это нарочно, чтобы меня злить.

Он ушел взбешенный, хлопнув дверью. Машура плакала в этот вечер, но какое-то упрямство все сильнее овладевало ею. "Захочу, - твердила она себе, лежа в темноте, в слезах, на кушетке, - и пойду. Никто мне не смеет запрещать".

Вернувшись домой, Наталья Григорьевна осталась недовольна. По одному виду Машуры и тому, что был Антон, она поняла, в чем дело. Эти сердечные столкновения весьма ей не нравились.

Ломтик хлеба, залитый бульоном (франц.). 369

Со своим покойным мужем она прожила порядочно, как надлежит культурным людям, без всяких слез и сумасбродств. И считала, что так и надо.

На другой день с утра заставила Машуру заниматься елкой, распределять подарки, посыпала прикупить чего нужно - то к Сиу, то к Эйнем. Машура машинально исполняла; в этих мелких делах чувствовала она себя легче.

Как в хорошем, старом доме. Рождество у Вернадских проходило по точному ритуалу: на первый день являлись священники, пели "Рождество Твое, Христе Боже наш": Наталья Григорьевна кормила их окороком, угощала наливками, мадерами и теми неопределенными-любезными разговорами, какие обычно ведутся в таких случаях. Она не была поклонницей этих *vieux religieux*, но считала, что обряды исполнять следует, ибо они - часть культурной основы общежития.

Потом приезжали с бесконечными визитами разные дамы, какие-то старики, подкатывали лицеисты в треуголках, шаркали, целовали ручку и ели торты. Весь день приходили поздравлять с черного хода. Наталья Григорьевна заранее наменивала мелочи.

В этом году все протекало в обычном роде; как обычно, Машура очень устала к концу первого дня. Как всегда, много было народа и детей на второй день, на елке; было так же парадно и скучновато, как полагается на елках взрослых. Профессор, друг Ковалевского, длинно рассказывал, глотая кофе, что обычай празднования Рождества восходит к глубокой древности, дохристианской. Его прообраз можно найти в римских Сатурналиях, где так же дарили друг другу свечи, орехи, игрушки.

Антон не пришел; он не явился и на следующий день, и не звонил. Подошел Новый год. Машура чокнулась шампанским с матерью, а Антона будто и не было. "Что-то будет в этом году!" - думала она, засыпая после встречи. Чувствовала себя одиноко, то хотелось плакать, то, напротив, сердце останавливалось в истоме и нежности.

И, не очень долго раздумывая, вдруг в один морозный святочный вечер надела она меховую кофточку, взяла муфту и, ничего не сказав матери, по скрипучему снегу побежала к

Христофорову.

XII

Христофоров был дома. В его мансарде горела на столе зеленая лампа. Окна заледенели; месяц, еще неполный, золотил их хитрыми узорами. А хозяин, куря и прихлебывая чай, раскладывал пасьянс. Он был задумчив, медленно вынимал по карте и рассматривал, куда ее класть. Валеты следовали за тузами, короли за тройками. В царстве карт был новый мир, отвлеченнее, безмолв

Старые церковники (франц.).

370

ней нашего. Всегда важны короли, одинаковы улыбки дам, недвижно держат свои секиры валеты. Они слагались в таких сложных сочетаниях! Их печальная смена и бесконечность смен говорили о вечном круговороте.

"Говорят,- думал Христофоров,- что пиковая дама некогда была портретом Жанны д'Арк". Это его удивляло. Он находил, что дама червей напоминает юношескую его любовь, давно ушедшую из жизни. И каждый раз, как она выходила, жалость и сочувствие пронзали его сердце.

Он удивлен был легким шагам, раздавшимся на лесенке,- отворилась дверь: тоненькая, зарумянившаяся от мороза, с инеем на ресницах стояла Машура.

Он быстро поднялся.

- Вот это кто! Как неожиданно! Машура засмеялась, но слегка смущенно.

- Вы же сами меня приглашали.

- Ну, конечно, все-таки...- Он тоже улыбнулся и прибавил тише: - Я, правду говорю, не думал, что вы придете. Во всяком случае, я очень рад.

- Я была здесь,- говорила Машура, снимая шубку и кладя ее на лежанку,-только раз, весной. Но вас тогда не застала. И оставила еще черемуху... Что это вы делаете? - сказала она, подходя к столу. - Боже мой, неужели пасьянс?

Она захохотала.

- Это у меня тетка есть такая, старуха, княгиня Волконская. У ней полон дом собачонок, и она эти пасьянсы раскладывает. Христофоров пожал плечами виновато.

- Что поделать! Пусть уж я буду похож на тетку Волконскую.

- Фу, нет, нисколько не похожи.

Христофоров сходил за чашечкой, налил Машуре чаю. Достал даже конфет.

- Вы дорогая гостья, редкая,- говорил он.- Знал бы, что придет, устроил бы пир.

Какая-то тень прошла по лицу Машуры.

- Я и сама не знала, приду или нет. Христофоров посмотрел на нее внимательно.

- Вы как будто взволнованы.

-- Вот что, сказала вдруг живо Машура,-нынче святки, самое такое время, к тому же вы чернокнижник... наверно, умеете гадать. Погадайте мне!

- Я, все-таки, не цыганка! - - сказал он, и засмеялся. Его голубые глаза нежно засияли.

Но Машура настаивала. Все смеялись, он стал раскладывать карты по три, подражая старинным гаданьям; и, припоминая значение карт, рассказывал длинную ахинею, где были, разумеется, червонная дорога, интерес в казенном доме, для сердца - радость.

- Вам завидует бубновая дама,- сказал Христофоров и раз

371

дожил следующую тройку.- Любит вас король треф, а на сердце, да... король червей.

- Это - блондин? - спросила Машура. Христофоров взглянул на нее загадочно. Она не поняла, всерьез это или шутка.

- Да, блондин. Как я.

Он вдруг смущился, положил колоду, взял Машуру за руку.

- Это неправда,- сказал он,- у червонного короля на сердце милая королева, приходящая святочным вечером, при луне. Он поцеловал ей руку.

- Или, может быть, снежная фея, лунное виденье. Машура побледнела и немного откинулась на стуле.

- Может быть, вы исчезните сейчас, растаете, как внезапно появились,вдруг сказал Христофоров тревожно, тихо и почти с жалобой. Голубые глаза его расширились. Машура смотрела. Странное что-то показалось ей в них.

- Вы безумный,- тихо сказала она.- Я давно заметила. Но это хорошо.

Христофоров потер себе немного лоб.

- Нет, ничего... Вы - конечно, это вы, но и не вы. Они сели на диванчик. Машура положила ему голову на плечо и закрыла глаза. Было тепло, сверчок потрескивал за лежанкой, из окна, золотая ледяные разводы на стекле, ложился лунный свет. Машура ощущала - странная нега, как милый сон, сходила на нее. Все это было немного чудесно.

Христофоров гладил ей руку и изредка целовал в висок.

- Почему мне с вами так хорошо? - шепнула Машура.- Я невеста другого, и почему-то я здесь. Ах, Боже мой!

- Пусть идет все как надо,- ответил Христофоров.

Он вдруг задумался и засмотрелся на нее долго, пристально.

- А? - спросила Машура.

- Вы пришли в мою комнату, Машура, в пустую комнату... И уйдете. Комната останется, как прежде. Я останусь. Без вас. Машура слегка приподнялась.

- Да, но вы... кто же вы, Алексей Петрович? Ведь я этого не знаю. Ничего не знаю.

- Я,- ответил он,- Христофоров, Алексей Петрович Христофоров.

- Все равно, я же должна знать, как вы, что вы... Ах, ну вы же понимаете, что вы мне дороги, а сами всегда говорите... я не понимаю...

Она взяла его за плечи и прямо, упосно посмотрела в глаза.

- Вы мое наваждение. Но я ничего, ничего не понимаю. Она вдруг закрыла лицо руками и заплакала.

- Прелестная,- шептал Христофоров,- прелестная. Через несколько минут она успокоилась, вздохнула, отерла глаза платочком.

-- Это все сумасшествие, просто полуумие глупой девчонки...

372

Мы друзья, вы славный, милый Алексей Петрович, я ни на что не претендую.

Они сидели молча. Наконец Машура встала.

- Дайте мне шубку. Выйдем. Мне хочется воздуха. Христофоров покорно одел ее, сам оделся. Машура была бледна, тиха. Когда задул он лампу, в голубоватой мгле блеснули на него влажные, светящиеся глаза.

Они вышли. Тень от дома синела на снегу. Христофоров взял

Машуру под руку, свел с крыльца и сказал:

- Тут у нас есть садик. Хотите взглянуть?

Отворили калитку и вошли в тот небольшой, занесенный снегом уголок кустов, деревьев, дорожек, какие попадаются еще в Москве. В глубине виднелась даже плетеная беседка, обвитая замерзшим, сухим хмелем. Они сели на скамейку.

- Здесь видны ваши любимые звезды.- Машура не подымала головы.

С деревьев на бархат рукава слетали зеленовато- золотистые снежинки. Все полно было тихого сверкания, голубых теней.

- Прямо над домом, вон там,- сказал Христофоров, указывая рукой, голубая звезда Вега, альфа созвездия Лирь. Она идет к закату.

- Помните,- произнесла Машура,- ту ночь, под Звенигородом, когда мы смотрели тоже на эту звезду и вы сказали, что она ваша, но почему ваша - не ответили.

- Я тогда не мог ответить,- сказал Христофоров,- еще не мог ответить.

- А теперь?

- Теперь,- выговорил он тихо,- время уже другое. Я могу вам сказать. Он помолчал.

- У меня есть вера, быть может, и странная для другого: что эта звезда - моя звезда-покровительница. Я под нею родился. Я ее знаю и люблю. Когда ее вижу, то покоен. Я замечаю ее первой. лишь взгляну на небо. Для меня она - красота, истина, божество. Кроме того, она женщина. И посыпает мне свет любви.

Машура закрыла глаза.

- Вот что! Я так и думала.
- В вас,-продолжал Христофоров,-часть ее сиянья. Потому вы мне родная. Потому я это и говорю.
- Погодите,- сказала Машура, псе не открывая глаз, и взяла его за руку.- Помолчите минуту... именно надо помолчать, я сейчас.

Где-то на улице скрипели полозья. Слышно было, как снег хрустел под ногами прохожих. Доносились голоса. Но все это казалось отзвуком другого мира. Здесь же, в алмазной игре снега, его тихом и непрерывном сверкании, в таинственном золоте луны, снежных одеждах дерев, было, правда, наваждение.

Машура медленно поднялась.

373

- Я начинаю понимать,- сказала она тихо.

Она открыла глаза, взгляд ее вначале напоминал лунатика. Понемногу он прояснился. Она опустила плечи, взялась рукой за спинку скамейки.

- Вот теперь будто бы яснее. Она еще помолчала.

- Знаете, мне иногда казалось, что вас забавляет играть... игра в любовь, что ли. В постоянном затрагивании и ускользании... для вас какая-то прелесть. Может быть, жизнь изучаете, что ли, женщину... И я бывала даже оскорблена. Я вас временами не любила.

Христофоров подался вперед, сидел недвижно, глядя на нее.

- Вдруг, именно теперь, в этот вечер, я поняла, что не права. Он? остановилась, как бы захлебнувшись. И продолжала:

- Вы, может быть, меня и любите... Христофоров нагнул голову.

- Но вы вообще очень странный человек... возможно, я еще мало жила, но я не видела таких. И именно в эти минуты я поняла, что ваша любовь, как ко мне, так и к этой звезде Веге... ну, это ваш поэтический экстаз, что ли...Она улыбнулась сквозь слезы.- Это сон какой-то, фантазия, и, может быть, очень искренняя, но это... это не то, что в жизни называется любовью.

- А почему вы думаете,- произнес Христофоров,- что эта любовь хуже?

Машура ступила на шаг вперед.

- Я этого не говорю,- прошептала она. Потом вздохнула.- Может быть, это даже лучше.

- Нет,- сказал Христофоров.- Я вами не играл. Но любовь правда удивительна. И неизвестно, не есть ли еще это настоящая жизнь, а то, в чем прозябают люди, сообща ведущие хозяйство,- то, может быть, неправда... А?

Он спросил с такой простотой и убежденностью, что Машура улыбнулась.

- Вы правы,- сказала она и подала ему руку.- Я, кажется, за этот вечер стала взрослой и старше, чем за много месяцев. Она провела рукой по глазам.

- Я буду помнить этот странный садик, луну, свою влюбленность... Да, во мне есть - вернее, была влюбленность... я не стыжусь этого сказать, Напротив...

Она направилась к выходу. Христофоров встал. Она вынула часики, взглянула и сказала, что пора домой. Христофоров проводил ее Почти у подъезда дома Вернадских встретили они Антона. Он, сутуясь, быстро и решительно шел навстречу. Увидав, поклонился, как малознакомый, и перешел на другую сторону.

Ночью Машура плакала у себя в постели. На Молчановке Христофоров, не раздеваясь, долго лежал на том самом диванчике, где она сидела. Сердце его раздиралось нежной и мучительной грустью.

XIII

Святки в Москве были шумные, как и весь тот год. Гремели кабаре, полгорода съезжалось смотреть танго,- подкрашенные юноши и дамы извивались перед зрителями, вызывая волнение и острую, щемящую тоску. Меценаты устраивали домашние спектакли. В них отличались музыканты, художники, поэты, воспроизводя Венецию галантного века. Много было балов. Шли новые пьесы; открывались выставки, клубы работали. Морозной ночью летали тройки и голубки к Яру.

Именно в это время бойкая Фанни, вместе с другими дамами и мужчинами, задумала устроить маскарад. Собирали деньги, нанимали помещение, музыку; художники писали декорации; дамы шили платья, готовили список приглашенных.

Ретизанов попал туда. Утром приехала к нему Фанни, вручила билет и взяла пятьдесят рублей.

Ретизанов улыбался, глядя на нее.

- Какая вы... быстрая,- сказал он.- Вы ведь меня почти не знаете...

- И, тем не менее, вломилась и обобрала? Вас, ангел мой, во-первых, вся Москва знает, второе - вы со средствами, что вам пятьдесят рублей?

- Позвольте,- перебил Ретизанов,- а это интересно? Да, и Лабунская будет танцевать?

Фанни уверила, что сама Вера Сергеевна обещала быть, несравненная, очаровательная.

- Ха, Вера Сергеевна... Нашли кого с Лабунской равнять. Фанни засмеялась.

- Дело вкуса, голубчик. Не настаиваю.

Уже в передней, подавая ей одеться, Ретизанов сказал:

- Неужели вы серьезно думали привлечь меня этой... Верой Сергеевной?

Фанни хлопнула его слегка муфтой и вышла.

- Вы чудак, ангелочек. Всегдашний чудак. А мне еще в тысячу мест.

И она захлопнула дверь. Ретизанов же пошел пить кофе. Читал газеты - и раздражался - ему казалось, что они созданы для опошления жизни. Ничто порядочное не может появиться в них.

В это утро ему пришла мысль о том, что следовало бы заключить союз творцов и людей высшей породы, тайный союз вроде масонского, для охранения духовной культуры, общения между собой и попыток коллективного, но строго аристократического решения дел искусства, философии, поэзии. Мысль его воодушевила. Он бросил кофе, отправился в кабинет, долго ходил из угла в угол, пощелкивая пальцами, бормоча, потом пошел в спальню, для

совещания с гениями. Его кровать отделялась занавесью. Он просунул голову между ее складками, погрузил глаза в полумглу, по

375

том закрыл их. Некоторое время молчал, затем, уже против его воли, мозг зашептал бессмысленные слова, пока не стало казаться, что ни его, ни комнаты нет, все слилось в одно смутное пятно. Гении ответили. Они шептали, слабо и нежно, в оба уха. Он улыбался, кивал. Когда узнал, что нужно и они перестали, он отошел, бледный и усталый, сел на диван и отер лоб. Гении одобрили его. Они сообщили также, что завтра возвращается из Петербурга Лабунская.

В два часа он завтракал, один, в Праге, задумчивый и рассеянный. Когда подали бутылку мозельвейна и он налил вино в зеленоватый бокал, вдруг появился Никодимов.

- Ах, это вы... Ретизанов даже вздрогнул.

- Ну, присядьте...

- Что вы на меня так смотрите? - спросил Никодимов, холодновато улыбаясь.- Я не кусаюсь. Ретизанов смутился.

- Нет, ничего. Я вас не боюсь.

Никодимов спросил, пригласили ли его на маскарад.

- Пригласили... А вы откуда знаете, что все это... что это будет?

Никодимов имел нездоровы вид и слегка подрагивал глазом.

- Я знаю потому, что меня именно не пригласили. Всех моих знакомых пригласили, но не меня. Ретизанов спросил простодушно:

- Почему же не вас? Это странно. Никодимов ответил не сразу.

- Потому,- сказал он наконец,- что я Никодимов, Дмитрий Павлыч Никодимов. Но я все равно приду.

- Дмитрий Павлыч Никодимов...- протянул Ретизанов.- Как странно... Да, а знаете,- вдруг добавил он задумчиво,- когда вы подошли, мне на минуту стало жутко. Я ощущал... какую-то мертвеннную тень на сердце. Будто что- то неживое.

Никодимов поднялся.

- Довольно,- сказал он.- Мне, знаете, все это надоело. Мертвенная или живая тень, мне все равно. Я пока все же человек, а не фигура.

Ретизанов привстал.

- Нет, да я не хотел вас обидеть.

Но Никодимов повернулся и отошел в дальний угол. Там сел один за столик и потребовал водки. Ретизанов же остался в смущении и некоторой тревоге. Что-то его угнетало. Кончив обед, расплатился. На сердце у него было тоскливо. Хотелось какой-то музыки.

Выходя на Арбат, он взял налево, пересек площадь и мимо хмурого Гоголя 'пошел Пречистенским бульваром. Навстречу бежали гимназистки и хохотали. В тире Военного училища, за

стеной, шла стрельба. Дети играли у эстрады. На деревьях гомозилось воронье, устраиваясь на ночь; зажигались желтые фонари, да летел снежок, бил в лицо. Чувство глубокой призрачности охватило Ретизанова. Вдруг ему показалось,- стоит ветру дунуть, все развеется, как и он сам. Он остановился...

- Может быть, ничего этого и вовсе нет? - спросил он вслух. Дети шарахнулись от высокого, худого, седоватого господина, говорившего с самим собой. Он постоял минуту и пошел дальше. У себя он застал Христофорова - в кабинете, в кресле у камина.

- Камин уже топился,- сказал Христофоров, улыбаясь,- когда я пришел. Я принес вам книжки, которые брал еще до Рождества. И говоря правду - озяб. Потому и сел погреться.

- Вы как будто извиняетесь,- сказал Ретизанов.- Черт знает! Вы должны были заказать себе кофе или еще что вздумается... Но вы вообще очень скромный человек... Когда я вас вижу, мне кажется, что вы хотите стать боком, в тень, чтобы вас не видели.

- Ну, может быть, я вовсе не так скромен, как вы думаете,- ответил Христофоров.

Ретизанов велел подать кофе.

- Вы действуете на меня хорошо,- сказал он.- В вас есть что-то бледно-зеленоватое... Да, в вас весеннее есть. Когда к маю березки... оделись. Говорят, вы любитель звезд?

- Да, люблю.

- В звездах я ничего не понимаю, но небо чувствую и вечность.

Он помолчал, потом вдруг заговорил с жаром:

- Я очень хорошо понимаю вечность, которая глотает всех нас, как букашек... как букашек. Но вечность есть для меня и любовь, в одно и то же время. Или, вернее,- любовь есть вечность...

Ретизанов выпил чашку кофе, совсем раз волновался. Он нападал на будничность, серое прозябанье, на само время, на трехмерный наш мир, и полагал, что истина и величие-лишь в мире четырех измерений, где нет времени и который так относится к нашему, как наш - к миру какой-нибудь улитки.

- Время есть четвертое измерение пространства! - кричал он.- И оно висит на нас, как ветхие, как тяжелые одежды. Когда мы его сбросим, то станем полубогами и одновременно будем видеть события прошлого и будущего что сейчас мы воспринимаем в последовательности, которую и называем временем. Впрочем, вы понимаете меня.

Христофоров сидел, молчал и курил. Ему нравилось золотое пламя, беспрерывный, легкий его танец, но с самого того вечера, как Машура приходила к нему, его не покидало чувство острой, разъедающей тоски. Машура жила все тут же, на Поварской. Но у него было ощущение, что она где-то бесконечно далеко. Неужели он пойдет, позвонит у подъезда и взойдет в ее светелку, где она читает или шьет? Это казалось ему невозможным.

Ретизанов наконец умолк. Молча он смотрел в камин, потом вдруг обернулся к Христофорову.

- Вы о чем-то думаете, своем,- сказал он.- Ха! Я волнуюсь, а вы погружены в мысли и как

будто печальны.

- Нет,- ответил Христофоров.- Я ничего. Ретизанов взял щипцы и помешал в камине.

- Печаль, во всяком случае, украшает мир. Он становится не так плосок. Быть может, душа стремится за пределы, одолеть которые дано лишь мудрым.

Он вдруг засмеялся.

- Слушайте, совсем про другое. Хотите идти со мной в маскарад... Такой художественно-поэтический маскарад на днях. Христофоров вздохнул и улыбнулся.

- Я получил приглашение. Но, во-первых, у меня нет костюма.

- Можно просто во фраке.

Христофоров встал, подошел к нему и, положив руку на плечо, сказал тихо, со смехом:

- Но у меня, дорогой мой хозяин, именно нет фрака. Ретизанов удивился.

- Да... фрака! Так вы говорите, что у вас нет фрака? Христофоров, все так же смеясь, уверил его, что не только фрака нет, но и никогда не было.

- Да, и не было.... проговорил Ретизанов с той же задумчивостью и как бы серьезностью, с какой мог говорить о четырхмерном мире.- Ну, если и не было... Вдруг он хлопнул рукой по столу.- Если не было, так возьмите мой!

Христофоров, все улыбаясь, начал было его отговаривать. Но Ретизанов заявил, что, если дело во фраке, он обязательно дает свой, старый, но вполне приличный.

- Позвольте,- кричал он уже у себя в спальне, снимая с вешалки фрак с муаровыми отворотами, на почтенной шелковой подкладке,- если вы не можете идти, потому что не во что одеться, а какой-нибудь Никодимов, игрок, дрянь, будет... Нет, это уж черт знает что!

Фрак оказался впору. Но Ретизанов так увлекся, что заставил мерить жилет и брюки.

- Послушайте,- сказал он горячо,- я очень вас прошу, наденьте все, здесь фрачная сорочка, галстук, бальные туфли. Христофоров изумился.

- Зачем? Для чего же...

- Я хочу поглядеть вас в параде... Нет, пожалуйста... Вы, может быть, будете другой... Я выйду, вы оденетесь, приходите в кабинет.

Как ни странно было, Христофоров исполнил просьбу. Когда он повязал белый галстук, оправился перед зеркалом, то и ему самому стало странно: правда, показался он как-то иным, тоньше, наряднее, будто свадебное нечто, торжественное появилось в нем.

378

"Вот и маскарад,-думал он с горечью и странной нежностью, идя в кабинет.- Вот уж и я - не я!"

- Принц и нищий,- сказал он с улыбкой Ретизанову, войдя в кабинет.

Ретизанов одобрил.

Сговорились так, что в день маскарада, к одиннадцати, Христофоров зайдет к нему, и вместе

они пойдут.

Уже в передней, провожая его, Ретизанов впал в задумчивость.

- А скажите, пожалуйста,- вдруг спросил он,- что, по- вашему, за человек Никодимов?

- Я не знаю,- ответил Христофоров. Через минуту прибавил: - По-моему - тяжелый.

- А по-вашему - он на многое способен? Христофоров несколько удивился.

- Почему вы... так спрашиваете?

- Нет, ни почему. Я его нынче встретил. Вы знаете, что он мне сказал? Что непременно будет на этом маскараде, хотя его и не звали. Нет, невыносимый человек. Я его ощущал сегодня знает как? Мертвенно. По-вашему, он зачем туда идет?

Христофоров ничего не мог сказать. Ему подали лифт, он поехал вниз плавно и вдруг тоже вспомнил Никодимова, как спускались они утром, летом, в этом же лифте. "А действительно, тяжелый человек",- подумал он. Вспомнил, как боялся Никодимов лифта. Ему стало даже жаль его.

XIV

Через несколько дней, в назначенное время, Христофоров вновь входил в знакомую квартиру. Ретизанов брился. Он был повязан салфеткой, одна щека гладкая, чуть синеватая, другая вся в мыле. Он оставил острую бородку лицо его стало еще худее и бледней. Увидев Христофорова, кивнул, улыбнулся с тем жалким видом, какой имеют бреющиеся люди.

- Как по-вашему,- спросил он, стараясь не порезаться,- ничего, что я бородку оставил? Или сбрить?

На него напала первая нерешительность. Сбрить или не сбрить? Он смыл лицо одеколоном, попудрил, так что большие синие глаза еще лучше оттенялись на белизне, и все колебался.

- Нет, не брить,- тихо сказал Христофоров.

- Так вы думаете-оставить... А знаете...-он вдруг захотел,- я сегодня, по морозу, ходил мимо дома, где живет Лабунская, и выбирал момент, когда народу меньше. Осмотрюсь, и сниму шапку, иду непокрытый. Это было страшно радостно. Вы меня понимаете?

Он вынимал уже обмундировку Христофорова. Слегка стесняясь, тот стал переодеваться. Он был в несколько подавленном настроении - и безучастен. "Хорошо,- думал он, глядя на своего

379

двойника в зеркале и застегивая запонку крахмальной рубашки,- пускай маскарад, или что угодно. Что угодно".

- А вдруг,- говорил в это время Ретизанов, повязывая галстук,- я приеду и не узнаю там Лабунской? Черт... все в масках и костюмах... Это может случиться?

- Вы почувствуете ее,- ответил Христофоров.

- Почувствую... я ее чувствую; когда она в Петербурге... Но вдруг нападет слепота... Понимаете, духовная слепота...

В двенадцать были они готовы. Ретизанов надел на гостя шубу, они вышли. Наняли на углу

резвого, запахнулись полостью и покатили. Рысак правда шел резво, но сбивался; снег скрипел; Москва была уже пустынна; по небу, освещенные снизу, летели белые облака, и провалы между ними казались темны. Закутавшись, Христофоров глядел вверх, как в этих глубинах, темно-синих, являлись золотые звезды, вновь пропадали под облаками, вновь выныривали. Привычный взор тотчас заметил Вегу. Она восходила. Часто заслоняли ее дома, но всегда он ее чувствовал.

У большого особняка, на Садовой, сиял молочный электрический фонарь. Подкатывали извозчики. Вылезали закутанные дамы, мужчины, хлопала дверь. В передней надевали маски. Тут висел голубой фонарь. Из-под шуб, ротонд, саков появлялись испанцы, турки, арлекины, бабы, фавны и менады. Два негра, в цилиндрах, в красных фраках, отбиравали билеты - у входа, декорированного под ущелье. За ущельем шел коридор, драпированный шалями. Здесь, проходя мимо зеркала, где оправляла прическу молоденькая венецианка на деревянных башмачках, в черной шали, с розами в смоляных волосах, мельком увидел Христофоров две тени, во фраках, шелковых масочках и безукоризненных манишках. Снова не совсем он узнал себя. Снова подумал - может, так и нужно, если маскарад. И чем дальше шел, тем больше нравилось быть под маской. Точно лоскуток шелка, с бархатной оправой для глаз, становился для него приютом в долгом и пустынном пути; точно из-под его защиты видней было происходящее и отдаленней; и еще менее участвовал он сам в пестром гомоне карнавала.

Как всегда, первое время был холодок: не все еще съехались, не все узнали друг друга, не разошлись. Маски бродили группами и поодиночке, рассматривая гостиные - увешанные коврами, расписанные удивительными зверями и фигурами, небесным сводом в звездах, магическими знаками. Была комната китайских драконов. Были, конечно, гроты любви. В большой зале началась музыка и танцы. В комнате через коридор, отделанной под нюрнбергский кабачок, за прилавком откупоривали бутылки; цедили пиво из бочки. На стенах кое-где надписи: "Все равны". "Все знакомы". "Прочь мораль".

К двум часам съезд определился. Больше толпились, хохотали, танцевали. Легкая маска, тоненькая, в восточных шальварах и фате, быстро подхватила Христофорова, склонила голову

380

серые, будто знакомые и незнакомые глаза взглянули на него, будто знакомый голос шепнул:

- Он ходит, он ждет. Но напрасно, напрасно... И убежала на резвых ногах, замешалась в толпе менад, окружавших розового Вакха, с тирсом, в виноградных лозах.
- Это кто была, по-вашему? - беспокойно спросил Ретизанов.- Что она вам сказала? Нет, куда она делась?

И он бросился искать восточную девушку.

Христофоров же пошел дальше, все так же медленно. "Лабунская? - думал он.- Да, наверно..." Но его мысли были далеко. Он прошел мимо двери, перед которой на минуту остановился. Вся она закрывалась материями, лишь внизу оставлено отверстие, куда можно пролезть на четвереньках. Он заглянул. Дальше было опять препятствие, так что войти туда могли лишь очень решительные. Танцовщица в коротенькой юбочке и астролог в колпаке со звездами проскользнули все же, хохоча.

В следующей комнате было полутемно. На эстраду вышел худенький Пьеро, с набеленными щеками, и девушка Ночь, в черном газовом платье со звездами, в красной маске. На пианино заиграли танго. Пьеро подал руку Ночи - и они начали этот странный и щемящий, как бы прощальный танец.

Христофоров отошел к стене. Он глядел на эстраду, на толпу цветных масок, толпившихся вокруг, то приливавших, то, смеясь, выбегавших в другие залы. Кто так устал, так измучен, что создал это? Не жизнь ли, человечество остановилось на распутье? Христофорову вдруг представилось, что сколь ни блестяще и весела, распущенна эта толпа, довольно одного дыхания, чтобы как стая листьев разлетелись все во тьму. Может быть, это все знают, но не говорят - стараются залить вином, танцами, музыкой. Может быть, все сознают, что они - на краю вечности. И торопятся обольститься?

Венецианская куртизанка знакомой, мощной походкой подошла к нему и слегка ударила его веером.

- И ты здесь, поэт?
- Здесь, прекрасная,- ответил он.- Смотрю. Она засмеялась.
- И прославляешь бедность?

Он придинулся, заглянул в темные глаза, окончательно узнал Анну Дмитриевну, сказал тихо:

- Ты веселишься? Это правда? - он сжал ей руку.- Правда? Она выдернула ее.
- Оставь. Не насмехайся. Подбежал Ретизанов.
- Слушайте,- закричал он,- я в духовной слепоте. Я ничего не понимаю. Нет, черт, я не могу ее найти. По- вашему, она тут? Да нет, вообще здесь все очень странно. Еще два часа, а уж есть пьяные, теснота. Не пускают Никодимова. Он скандалит. Вам нравится? - обратился он к Христофорову.- А главное, я не могу

381

понять, что со мной сделалось. Я наверно знаю, что она приехала из Петербурга и должна здесь быть. Но где же?

- Ищите девушку в шальварах,- ответил Христофоров,- в низенькой шапочке и фате.
- Да вы почем знаете? - закричал Ретизанов.- Ах, черт... Глаза его блестели, он был уже без маски. Что-то нетрезвое, лихорадочное сквозило в нем.
- Мне кажется,- сказал он с отчаянием,- что, если сейчас ее не найду, это значит, я погиб. Христофоров взял его под руку.
- Пойдемте, не волнуйтесь. Она здесь. Мы ее найдем.

Действительно, в третьей же комнате, окруженная толпой, Лабунская танцевала *danse de l'ourse* с индийской царевной. Христофоров посмотрел и двинулся дальше. Он не снимал маски.

По-прежнему странное и горькое удовольствие доставляло ему - смотреть, не будучи замеченным. От Лабунской, как и всегда, осталось у него легкое ощущение, будто гений света и воздуха одухотворял ее. Но иной образ в его душе, бесконечно близкий и дорогой - бесконечно далекий. Было что-то родственное меж ними, какая-то нота очарования. Христофоров знал, что сюда Машура не приедет. Все же, бродя в пестром мелькании масок, он искал ее. Это волновало и мучило. Иногда мерещилась она в быстром танце, в блеске глаз из-за кружев, в полуосвещенном углу. Но, как мгновенно вспыхивала, так же мгновенно и уходила. Была минута, когда, став в тени портьер, закрыв глаза, усилием воображения он ее вызывал. Она была бледна, тонка, в длинных черных перчатках, с худенькими плечиками.

Масочка скрывала среднюю часть лица. "Это ваш поэтический экстаз,- говорила она с улыбкой и слезами,- сон, но не то, что в жизни называется любовью".

Он открыл глаза и тронулся. Машинально пробрался он вперед, и хотя теперь ее не видел, странное ощущение, что она здесь, невидимо, не оставляло его. Свет. люди, шум изменились Ее присутствием. Хотелось плакать. Сердце ныло нежностью.

В нюрнбергском кабачке очень шумели. Все столики были заняты, скатерти залиты вином. На бочке танцевала маска. Кто-то пытался ораторствовать. Другого собирались качать. У прилавка стоял, очень бледный, Никодимов и допивал коньяк.

- Несмотря на все,- говорил он флорентийскому юноше, с ласковым и порочным лицом,- я здесь... Дмитрий Павлыч Никодимов пришел.

Юноша дернул его за рукав.

- Дима,- сказал он тенором, вытягивая звуки.- Не пей. Тебе вредно.

- Да снимите вы маску! - крикнул Христофорову знакомый веселый голос.

' Танец медведя (франц ').

382

Обернувшись, он увидел Фанни, за столом с несколькими евреями. Толстый человек во фраке, с ней рядом, куря сигару, говорил соседу:

- Здесь и совсем Парыж!

Христофоров снял маску. Фанни, в предельно- декольтированном платье, с чайной розой, хохотала и кричала:

- Садитесь! К нам! Это м-милейшая личность,- обратилась она к друзьям.- Проповедник бедности или любви... чего еще там? Жизни, что ли? Забыла! Но милейшая личность. Давид Лазаревич, налейте ему шампанского!

Давид Лазаревич, с короткими и пухлыми пальцами в перстнях, из тех Давидов Лазаревичей, что посещают все модные театры, кабаре и увеселения, говоря про одни: "Это Парыж", а про другие важно: "Ну, это вам не Парыж", отложил сигару и налил молодому человеку вина.

Христофоров имел несколько ошеломленный вид. Но поблагодарил и чокнулся.

- Очар-ровательно,- сказала Фанни, щуря продолговатые, подкрашенные глаза.- А откуда такой фрак?

Христофоров нагнулся к самому ее уху, с бриллиантовой сережкой, и шепнул:

- Чужой, Александра Сергеевича.

- Милый! - закричала она.- Аб-бажаю! Очар- ровательно, весь в меня. Я такая же. Мы все шахер-махеры.

От вина голова Христофорова затуманилась - приятным опьянением. Он теперь рад был, что встретил Фанни, сытых израильтян, и не отказывался, когда Давид Лазаревич налил ему еще бокал.

- Хорошо, что ушел этот Никодимов,- заболтала Фанни.- Фу! Не люблю таких. Что он из себя изображает? Загадочную натуру? А по-моему - просто темная личность с претензиями. Хоть и

дворянин, и барин... И потом, он на меня тоску нагоняет. Что это такое? Нет, я люблю, чтобы весело было, и жизненно, без всяких вывертов. Не понимаю тоже и Анну - что она в нем нашла? Ах, бедная женщина. Слоняется тут. Выпьем за нее!

На этот раз она не спрашивала Давида Лазаревича, налила сама. За вином разболтала она многое о своей приятельнице, чего не сказала бы в обычном виде.

Скоро ее позвали - как распорядительница, должна она была устраивать новый номер. Христофоров посидел немного и тоже поднялся.

В сущности, пора уж было уходить, вновь возвращаться в полупустую свою комнату. Для чего был он здесь? Сердце его опять сжалось. Он вспомнил Ретизанова. Все-таки тот встретил свою девушку в шальварах,- которую носят по залам гении ветров. Машуры же вновь не было с ним. В сердце пустота и одиночество. Значит, права была Лабунская, шепнувшая свои легкие слова. Значит, надо уезжать.

383

Он потолкался еще среди масок, по залам, и машинально забрел в темный закоулок у передней, откуда лесенка шла наверх. Он почему-то поднялся,- и попал в две полутемные антресоли. В первой шептался в кресле Пьеро с черненькой венецианкой. Христофоров прошел мимо. В дальней сел он на ситцевый диванчик, вздохнул и закурил. Эту комнату не готовили. Не было декорации, мебель обычная. В углу, у иконы, лампадка. Окна выходили в сад. Смутная, синеватая мгла.

Снизу слышался шум, танцы, доносилась музыка. Отсюда видны были деревья в саду, полосы света из нижних окон да кусок неба. Христофоров сидел, курил, смотрел на это небо, на котором увидел голубую звезду Вегу. Она мерцала нежно и таинственно. Среди веток можно было заметить, как по вековому пути движется она, ведя за собой, как странница, светло-золотую Лиру. Голубоватый свет ее успокаивал. Чем дольше смотрел Христофоров, тем более ему казалось, что ее таинственное сияние глубже разливается по окружающему, внося гармонию. Тот же голубоватый отблеск есть и в глазах Машуры, в милой Лабунской. Оцепенение, вроде сна, овладело им. Призрачней, нежней и туманнее летела музыка. Легче и нечеловечней казались маски. Очаровательней, ближе и дальше, возможней и невозможнее невозможная любовь.

XV

В это время внизу, в небольшой гостиной, уже пустой, стоял у окна Никодимов, тупо смотрел на улицу. Подошла венецианская куртизанка. Он обернулся.

- Дмитрий,- сказала она.- Почему ты здесь? Он пожал плечами.

- Где же мне быть?

- Для чего ты приехал на этот маскарад?

- Меня об этом спрашивали нынче,- ответил он глухо.- В передней...

Куртизанка сжала пальцы.

- Для чего ты себя унижаешь?

- Этого я не умею тебе сказать.

Она вдруг быстро взяла его руку и поцеловала.

- Иногда мне кажется, что все твое... всю тоску, скверное, я могла бы взять на себя.

Никодимов перевел на нее темные и мутные глаза. Слабая улыбка появилась на его улице.

- Женщина,- сказал он и вздохнул.- Особенный ваш род.

- И не стыжусь, что женщина. Я, милый мой, тоже много видела стыда на своем веку. Меня не удивишь.

- Ничего,- пробормотал Никодимов.- Ничего. Живу, как живу. Ничего не надо. Никаких сентиментальностей.

- Уедем отсюда,- вдруг сказала она.- Я тебя увезу на край

384

света, будем жить у моря, солнца, путешествовать... Ты будешь свободен, но... уедем!

- Фантасмагории!

- Поселимся в Венеции... Никодимов слегка вздрогнул.

- В Вене я был очень близко к смерти,- сказал он.- Никогда тебе не рассказывал. Во всяком случае, это сильное ощущение.

Он вынул часы.

- Пять.

Глаза его несколько прояснились, он подобрался и оглянулся.

- Поезжай домой. Пора. Видишь, все разъезжаются. А у меня есть еще дело. Я поссорился с одним человеком.

Никодимов поцеловал ей руку с внезапной, но холодной вежливостью и вышел. Куртизанка постояла, села на диван и уткнулась лицом в его спинку.

Никодимов же встретил в зале флорентийского юношу и подошел к нему.

- У меня сегодня дуэль,- сказал он.- Мы заедем домой, ты переоденешься, выпьем кофе, и в половине восьмого должны быть в Петровском парке.

Юноша попятился. Его бархатные, беспокойно-распутные глаза взглянули испуганно.

- Дуэль? - произнес он слабым голосом.- Но тебя могут убить.

- Безразлично,- тихо и слегка задыхаясь ответил Никодимов.- А пока ты - мой... едем.

Юноша пытался возражать. Никодимов властно и нежно взял его под руку, повел к выходу.

Маскарад действительно кончался. В нюрнбергском кабачке орали еще пьяницы. Фанни, в передней, накидывала свой палантин. Давид Лазаревич подавал ей ботики. По углам гнездились еще пары, не желавшие расставаться. Варили последний кофе - для пьяниц и тех неврастеников, которые не могут вернуться домой раньше дня. Последними досиживают они, небольшими компаниями, среди синего утра, разбросанных окурков, облитых вином скатерей, зашарканных паркетов - всегдашней мишуре и убожества финальных часов.

- Где вы? Куда вы пропали? - кричал Ретизанов, поймав наконец Христофорова.- - Черт

знает, вы сидите здесь... понятия не имеете... А это ужас... Нет, это черт знает что! Такой негодяй...

Путаясь, волнуясь и крича, он объяснил, что полчаса назад Никодимов, ни с того ни с сего, грубо оскорбил Лабунскую.

- Нет, вы понимаете, это хам, которого раз навсегда надо проучить. Я ему это и сказал. И ударил бы, если бы не помешали. Но теперь - дуэль. Дело решенное. Нет, это давно надо было сделать.

Христофоров был поражен.

385

- Как... дуэль? - переспросил он.

— Сегодня же, утром, в Петровском парке. Он привезет оружие... Да что вы так удивились? Это давно надо было сделать, я давно собирался от него избавиться. Ничего не значит, что вызов без секундантов... Все равно, вы должны присутствовать.

- Я, секундантом?

- Что? Вы не хотите? Нет, это уж дудки-с!

Христофоров совсем потерялся. Что угодно мог он предположить, только не это. Участвовать в дуэли! Но ведь это бесконечно дико. Запинаясь, он старался объяснить, что никакой дуэли быть не должно, что это нелепаяссора, и, быть может, Никодимов просто нетрезв...

- Как? - закричал Ретизанов.- Оскорбить Елизавету Андреевну нелепаяссора? Вы не понимаете, что уж давно он к этому подъезжает, потому что он темный человек, и его бесит любовь, подобная моей. Нелепаяссора! Это должно было произойти, не сегодня, так завтра. Нет, уступить ему... дудки!

Христофоров понял, что теперь остановить его уже нельзя. Они сошли вниз, в нюрнбергский кабачок. Неврастеники дохлестывали вино. Трое пьяных в углу громко рассуждали, что хорошо бы предпринять кругосветное путешествие.

Ретизанов занял столик, заказал кофе и коньяку. Христофоров молчал. Он чувствовал себя странно. Ему казалось - то необычайное, что вторглось в его жизнь этой зимой и привело, во фраке и маске, в этот кабачок,- владеет им и мчит дальше, по неизвестной ему дороге, навстречу необычным чувствам. Опять ему вспомнилось, как стоял он летом, на утренней заре, на балконе квартиры Ретизанова, над спящей Москвой, и ощущал великий жизненный поток, несущий его. "Да, может быть, и прав Ретизанов,- думал он.- Может быть, и правда, еще тогда, в ту шумную ночь зарождались события, которым лишь теперь надлежит вскрыться".

Ретизанов между тем пил кофе, вливая в него коньяк. Он молчал, потом стал улыбаться и полузакрыл глаза рукой. Походило на то, будто он погружается в транс.

- Куба, Ямайка, Гаити и Порторико! - кричал пьяный путешественник.Иначе не могу, поймите меня, я же не могу... Милые мои, хорошие мои, ну куда же я поеду? - Он хлопнул кулаком по столу, вновь заорал: - Куба, Ямайка, Гаити, Порторико! И никаких шариков.

Ретизанов отнял от лица руки. На глазах его были слезы.

- Гении ответили,- тихо сказал он,- что я не должен никому позволять... даже если бы пришлось умереть. Я должен отразить натиск темных сил. А если Никодимов этот - вовсе не

Никодимов, а кто-то другой, более страшный, в его обличье...

Ретизанов говорил все медленнее и тише. Глаза его горели. Сухая нервность была в руках. Христофорову ясно стало казаться, что он не в себе. На мгновение остро его кольнуло - ведь это

386

полубезумный, его надо бы везти домой и в санаторий. Но тотчас же он понял, что сделать этого нельзя. Значит, надо повиноваться.

В начале восьмого они оделись и вышли. Начинало светать _ хмурым, неясно-свинцовым рассветом. На бульваре, в деревьях, шумел ветер. Фонари гасли. Побежали трамваи, над ними вспыхивала зеленая искра. На Страстной площади было пустынно. Дремал лихач на паре голубков. Лампадка краснела у входа в монастырь, открылась свечная лавочка. На колокольне медленно звонили.

Ретизанов подошел к лихачу и негромко сказал:

- В Петровский парк.

-- Пожа-луйте!

Лихач вскочил и бросился снимать с озябших лошадей попоны.

Через минуту они катили по Тверской, по прямой, классической улице кутежей, загородных ресторанов. Иногда навстречу попадались тройки - кутилы шумели, хохотали и в облаке снега уносились. Проревел автомобиль. Лежавший на дне веселый человек приветствовал встречных, выкидывая ноги кверху. Прокатили под Триумфальной аркой, где тяжело летели бронзовые кони по- бед. Светящиеся часы на вокзале показывали без двадцати восемь.

Христофоров находился в странном, полуотсутствующем состоянии. Он не особенно хорошо понимал, куда и зачем едут. Как будто изменились декорации, но все продолжается его мечтательное созерцание в мансарде - теперь летят навстречу арки, дома, сады - с той же фантастической бесцельностью. И лишь подо всем. глубоко и жалобно, стонет что-то в сердце. Ретизанов молчал. Он был задумчив и сдержан, как человек, делающий важное, очень серьезное дело. Он указал кучеру, где надо свернуть, за Яром, по какой аллее проехать. Потом остановил его. Они вылезли. Лихач шагом должен был возвращаться в указанное место.

- Вот сюда,- покойно сказал Христофорову Ретизанов и повел узкой, слегка протоптанной тропинкой на средину поляны. Там росли три огромных пихты; под ними - скамейка. Место было пустынное. Налетел ветер, курил снежком. Тяжело пронеслась, ныряя, ворона. Виднелись забитые и занесенные снегом дачи. Что-то очень суровое и скорбное было в этом утре, синеющем снеге, мертвых дачах.

Ждать пришлось недолго. С противоположной стороны поляны, шагая по цельному снегу, приближалась высокая фигура Никодимова, в николаевской шинели, которую приходилось подбирать. За ним шел военный врач и юноша в пальто со скунсовым воротником, торчавшим веером.

- Вот они где, - сказал круглоголовый доктор, настоящий москвич, будто отлично был знаком с сидевшими.- Привет на сто лет! Ну и пустяковое же дело затеяли, господа!

13' 387

Христофорову стало очень холодно. Никодимов положил на скамейку два браунинга и

обоймы.

- Право,- сказал врач, потирая руки, улыбаясь и слегка пристукивая озябшими ногами.-- Бросьте вы эти, простите меня, глупости. Что такое, порядочные люди будут друг в друга из револьверов шпарить!

Ретизанов вдруг взволновался.

- Нет, нет!-закричал он.-Пожалуйста, доктор. Это не шутки.

Христофоров тоже попытался вмешаться. Но ничего не вышло. Никодимов только покачал головой. Пришлось отмеривать дистанцию. Ни Христофоров, ни юноша не умели заряжать.

-- Эх, светики, ясные соколы, - сказал доктор и взял обоймы.- Еще называетесь секундантами!

Когда противники взяли оружие, Никодимов вдруг сказал:

- Впрочем, если господин Ретизанов извинится, я готов прекратить.

Ретизанов вспыхнул:

- Извиниться! Нет, это уж черт знает что!

И пошел на свое место. Христофорову ясно представилось, что действительно это маньяк, и если гении сказали ему, что нужно драться, он драться будет. Никодимов снял шинель, стоял высокий, худой, очень бледный, в лакированных сапогах и белых погонах. Он повернулся боком, чтобы меньше была цель. Ретизанов поднял браунинг весьма неуверенно, как вещь, совсем незнакомую. Долго водил дулом. Наконец, выстрелил.

Христофоров стоял, прислонившись к пихте. Он видел, как вдали, по замерзшему пруду шел мальчик, видимо ученик, с раннем за плечами. Заметал по поляне снежок. Щипало уши. 1-1 казалось, так все необыкновенно тихо. будто нет ни жизни, ни Москвы, а только этот КУСОК снега с деревьями, идущий мальчик, серый день,

Раздался второй выстрел. Христофоров, не видя и ничего не понимая, пошел вперед. Он заметил, что Ретизанов качнулся, что веселый доктор побежал к нему, схватил под мышки.

- Вот... здесь,- говорил Ретизанов, держа рукой около ключицы. Он был очень бледен.

- Эх, батенька,- сказал доктор подошедшему Никодимову.

- Я предлагал бросить,- сухим, срывающимся голосом ответил тот. Фуражка его слетела. Ветер трепал завитки прямого пробора. На темных волосах белело несколько снежинок.

Ретизанов очень ослаб. На скамейке, под пихтой, ему сделали первую перевязку. Юноша побежал за лошадьми.

Через четверть часа, на тех же самых голубках, что везли их сюда, Христофоров с доктором мчались к Триумфальным воротам, поддерживая Ретизанова. Было совсем светло.

Артиллерийские офицеры ехали в бригаду. Пришел поезд - с вокзала тянулись извозчики с седоками и кладью. Тверская и Москва имели будничный обычный вид. И Христофорову казалось, что лишь они, скакавшие к Страстной площади, везя подстреленного человека, представляют обрывок этой печальной, шумной и сумбурной ночи.

Проезжая мимо Страстного, он снял шапку и перекрестился.

Дни, что следовали за дуэлью, были тяжелы для Христофорова. Ретизанов, с простреленной ключицей, лежал у себя на квартире. Ему взяли сестру милосердия, но Христофоров бывал у него постоянно, и его угнетало, что в этой бессмыслице, так дорого обошедшейся Ретизанову, принимал участие и он, христианин и враг всякого убийства. "Это, должно быть, все-таки было наваждение", - думал он с тоскою. Только туманом и мог он объяснить, как не вмешался, как не уклонился, наконец, если не мог помешать.

Ретизанова многие навещали и жалели - в том числе Анна Дмитриевна. Чаще других заезжала Лабунская. Она была мила, внимательна, завезла даже раз цветы. Но Христофорову, глядя на нее, все больше казалось, взволноваться до конца, страдать, терзаться -- не ее область. Чистая, легкая и изящная, проходила она в жизни облаком, созданным для весны, для неба.

- Недавно, - сказала она раз Христофорову, уходя, - я познакомилась с одним англичанином. Ужасно трудно понимать по-английски! С одной стороны он страшно великолепен - автомобили, шикарные апартаменты... С другой очень прост и скромен. Вот он и предлагает мне на весну ехать в Париж, а в июне, чтобы я в Лондоне выступала. А потом, говорит, будем по Европе кочевать... ну, с танцами, с выступлениями. Мне и Москву жаль бросать, я московская, тут родилась, у меня здесь приятели - и заманчиво. Все-таки, пожалуй, потанцевать в Европе? А? Как по-вашему?

Христофоров улыбнулся.

- Потанцевать, - ответил он тихо. - Потанцевать, людей посмотреть, себя показать.

Она засмеялась и пошла к двери.

-- Вот вы какой, как будто бы и этакий... а одобряете легкомысленные штуки.

- Но не говорите пока об этом Александру Сергеевичу, - сказал Христофоров.

Она взглянула на его лицо, на глаза, ставшие серьезными, вздохнула, махнула муфтой.

- Не скажу.

Ее посещения вообще волновали Ретизанова. Он принимался говорить, спорить, доказывать. Поднималась температура. А это было для него очень многое.

Раз Христофоров, подойдя на звонок к телефону, услышал

389

голос Никодимова. Тот спрашивал о здоровье раненого. Христофоров ответил.

Узнав, кто с ним говорит, Никодимов несколько оживился.

- Если вы свободны, - сказал он, - то зайдите как-нибудь ко мне, днем. Если, конечно, - прибавил он холодней, - к тому нет особых препятствий. Я хочу вас видеть.

Христофорову показалось это несколько странным. Но он ответил, что зайдет. Ретизанову он сказал лишь, что противник осведомился о здоровье.

- Ха! - засмеялся Ретизанов. - Сначала убьют, а потом справляются, хорошо ли убили. Помолчав, он прибавил:

- Но Никодимов меня ранил, это естественно. А насчет Елизаветы Андреевны, - он опять раздражился, - это гадость, гадость!

Дня через два, в пятом часу, Христофоров спускался по лестнице, чтобы идти к Никодимову. Был конец февраля. Светило солнце, с крыш капало. В окне синел кусок неба. Бледное облачко пролетало в нем.

На одном марше лестницы, быстро сходя вниз, он чуть не столкнулся с Машурой. Она шла вверх, медленно, опустив голову. Увидев его, остановилась.

Они поздоровались.

- Вы к Александру Сергеевичу? - спросил Христофоров.

- Да.

Машура слегка побледнела, но лицо ее, как обычно худенькое, остроугольное, имело печать спокойствия. Лишь в огромных глазах слабо трепетало что-то.

- Это хорошо,- сказал Христофоров сдавленным голосом,- что вы идете к нему. Он будет очень рад. Машура поклонилась и тронулась дальше.

- Скажите,- спросила она, сделав несколько шагов,- правда, что он стрелялся из-за Лабунской?

Она слегка сдвинула брови. Что-то сдержанно-горькое показалось ему в этом лице.

-- Правда...

Христофоров замялся и вдруг сказал:

- Вы не были ведь... там? На маскараде? Машура несколько удивилась.

- Почему вы думаете? Нет, не была.

Христофоров хотел еще что-то сказать. Но промолчал. Машура вздохнула, медленно стала подыматься. Он так же медленно спускался, всем существом ощущая, как растет между ними высота. Сойдя в вестибюль, почувствовал усталость. Швейцара не было. Он сел на его стул, у стены, и закрыл глаза. В голове шумело. Куда-то выше, все выше всходила сейчас Машура, как кульминирующая звезда, удаляясь в неведомые и холодные пространства. Хлопнула наверху дверь. - замолкли ее шаги. Вошел кто-то

390

снизу, с парадного. Христофоров встал, вышел и двинулся к Пречистенскому бульвару.

Там шагал он по правому, высокому проезду, где важны тихие дома, греет солнце, золотеет купол маленькой церкви, Ржевской Б. Матери.

Над Гагаринскими, Сивцевыми, Арбатами дымно сияло золотистое, уже весеннее небо Москвы с розоватыми тучками. Начинался один из романтических закатов Арбата. Христофоров вспомнил - еще гимназистом ходил он тут, и такие же были эти закаты, так же томилось его сердце; как и теперь, был он полон призраков, обольстительных и кочующих, владевших им всю жизнь, лаская, мучая. Голубые глаза его раскрывались шире, с тем несколько безумным выражением, какое принимали иногда. И он шел, мало замечая прохожих, сам призрак собственных же, далеких дней, о которых нельзя было сказать, куда развеялись они, как и нельзя было удержать фантасмагорию его любовей, рассеявшихся в мире.

Так прошел он по Никитскому бульвару, по Тверскому, где Пушкин стоял, спокойный и

задумчивый, глядя на мелькающую толпу. На колокольне Страстного, сиявшей розовым в закате, перезванивали. На площади торговали водами, папиросами. Мальчишки с цветами бежали за экипажами. Звенели трамы. Шли, ехали, сновали. На бульваре белел еще снег.

Машинально вошел Христофоров в ворота монастыря, под башней, пересек небольшой дворик со старыми деревьями и поднялся в церковь. Она была обширна и светла. Служба только что началась. Хор монахинь выходил с клиросов, они расположились на амвоне, развернули ноты. Одна, довольно полная, немолодая, была за регента. Очень высокий, нежный, но однообразный хор вторил возгласом ектений. Затем бледная монашка, в черном клобуке, читала у аналоя, при восковой свече. Весенний свет наполнял церковь. Свечи золотились. Женский голос, без конца и начала, читал святую книгу. Христофоров стоял рядом со старухой и двумя солдатами. Вечность и тишина были тут. Вечность и тишина.

Часы на колокольне указывали половину шестого, когда он вышел. Никодимов жил недалеко. Пройдя несколько переулков, Христофоров оказался перед гигантским домом. В вестибюле с колоннами, как в дорогом отеле, бродило несколько швейцаров. Джентльмен в широком пальто сидел на диване и нетерпеливо постукивал ногами. Зеленовато-розовый рефлекс весны ложился через зеркальные двери.

Христофоров бессмысленно, отсутствуя, сидел в лифте, напоминавшем каюту. С ним подымались иностранного вида обитатели и разбредались по бесчисленным коридорам дома - океанского корабля.

Никодимов, в расстегнутой тужурке, отворил сам.

- А,- сказал он,- очень рад.

391

Христофоров разделся в передней и вошел в большую комнату, полную розового света.

- Значит, все-таки собрались,- сказал Никодимов, ус- мехаясь.- Сюда пожалуйте, к столу. Хотите вина?

Христофоров отказался. Хозяин налил себе стакан рейнвейна и выпил.

- В этом доме,- сказал он,- живут иностранные комми, клубные 'игроки, актрисы, художники и такие личности, как я. Я занимаю студию. Здесь раньше жил художник.

Христофоров смотрел на него очень пристально, разглядывая белую рубашку под тужуркой и ворот видневшейся тоненькой фуфайки.

- Чего вы на меня так смотрите? - вдруг спросил Никодимов и опять засмеялся.- Изучаете? Христофоров смущился:

- Нет, ничего.

- Меня изучать, может быть, и интересно,- сказал он,- может быть нет. Зависит от точки зрения. Я сегодня пью с утра, что, впрочем, делаю нередко. Да, я вас звал...- Он вдруг впал в задумчивость.- Я ведь вас звал для чего- то... Может быть, вы обидитесь. Но знаете - ни для чего. У меня нет к вам никакого дела.

Теперь улыбнулся Христофоров.

- Значит, почему-то все-таки вам хотелось меня видеть?

- Да, хотелось, хотелось.

Он говорил рассеянно, будто это совсем не нужно было.

- Какой вы... странный человек,- сказал Христофоров.

- А что,- спросил Никодимов, довольно безразлично,- выживет Ретизанов?

Христофоров ответил, что опасности нет.

- Все это необыкновенно глупо.- задумчиво произнес Никодимов,- как и очень многое в моей жизни. Я бы не весьма пожалел, если б убил его, но и то, и другое было бы совершенно ни к чему. Бес-смы-сли-ца! - раздельно выговорил он.

Дверь из соседней комнаты отворилась; оттуда вышел, в шелковом халатике, завитой, со слегка подкрашенными глазами юноша, бывший на дуэли.

- Дима,- сказал он,- затопи ванну. А то я до театра не успею одеться.

Никодимов заторопился и побежал в маленькую комнатку, рядом с прихожей.

- Постоянной прислуги здесь нет,- зевая, сказал юноша.- Приходится самим возиться. Ах, да,- вдруг ожился он,-- как страшно было тогда! Я думал, что Диму убьют. Но этот господин совершенно не умел стрелять.

Потом он заговорил о балете, осуждал Веру Сергеевну, о Ненарковой отозвался кисло. Вспомнил, как занятно было в Париже, два года тому назад, на русском сезоне.

392

- Мы и теперь собираемся в Париж, но Дима должен вы- играть и взять отпуск. Или там без отпуска, мне все равно. Дима ленив. Все обещает выиграть... и вечно мы без денег. Впрочем, вот взгляните, он мне подарил.

Юноша показал на пальце перстень с тонкой и прозрачной камеей.

- Это голова Антиноя,- сказал он.- Император Адриан любил одного юношу, Антиноя. Во время прогулки по Нилу тот утонул. А-а... Император был страшно огорчен и велел обожествить Антиноя. На его вилле... знаменитой, под Римом, было найдено множество статуй и бюстов... а-а... юного бога. Вам нравится?

Он снял перстень и поцеловал камею.

- Очень мило.

И с тем же ленивым и несколько покровительственным видом, с сознанием изящества, превосходства, поплелся брать ванну.

Христофоров встал и подошел к окну. Еще более, чем от Ретизанова, была видна отсюда Москва, облекавшаяся, в глубине улиц, в синеватый сумрак и красневшая в закате верхушками домов. Купола золотели. Та же пестрота красного кирпича зеленых садов, острых башен и колоколен Кремля, дальних труб на заводах. Темнели Сокольники. За Кремлем виднелась равнина, уводящая на юг. уже туманившаяся, с далекой, освещенной церковью села Коломенского. Внизу, у памятника Пушкина, казавшегося крошечным, зажглись белые фонари.

- Все деньги, деньги,- бормотал сзади Никодимов.- Париж. Вот, если банк хороший сорву...

Христофоров обернулся. Лицо Никодимова в сумерках приняло фиолетовый оттенок.

- Что,- спросил Христофоров,- играть очень интересно?
- Да-а...- протянул Никодимов.- Играть... Игра, кроме волнений, хороша еще тем, что необыкновенно отрывает от обычной жизни. Я играю всегда в полусне... особенно когда уж поздно. Только карты, они сменяются, так, этак, вами овладевает оцепенение...
- Я это понимаю,-- тихо ответил Христофоров.
- Понимаете! Вот бы уж не поверил. Ваша жизнь мало похожа на мою.

Христофоров согласился.

-- Я,- сказал вдруг Никодимов,- то, что называется темная личность.-Он налил себе вина и выпил.

- Мне это нередко говорят. Например, тогда, на маскараде. И - правы. Я не отрекаюсь. Хоть иногда это утомляет. Меня в корпусе еще мальчишки не любили. Звали: "Орлик доносчик, собачий извозчик". Я иногда плакал, иногда их бил. Но кончил хорошо, чуть не первым. Был честолюбив. Мечтал о славе, читал о Наполеоне, итальянские походы знал наизусть.

Поступил в Ни

393

колаевскую Академию. Там мне тоже устраивали бойкот. Так, особняком и держался. Но опять кончил, тоже недурно. Служил по генеральному штабу. Знаете мою специальность? Вместо полководца - военный шпион. Сначала в Австрию командировки. Я ходил в штатском, зарисовывал местности, около крепости. Потом получил назначение в Вену, в нашу военную миссию. Там жилось весело. Я знал Ягича, знаменитого предателя. Он нам продал мобилизационные планы. Дорогово это обошлось. Но на случай войны - небесполезно. Это дело, частью, через меня делалось. Ягича я обхаживал... Да, но не совсем удалось, не совсем удалось!

Пока он рассказывал о Ягиче, юноша плескался в ванне. Он вызвал к себе Никодимова; долетали какие-то разговоры, опять слово деньги, затем, снова в халатике, он проследовал в свою комнату, одеваться.

Христофоров сидел в кресле, спиной к окну, в смутных, весенних сумерках, и думал о том, каких только людей и дел нет на свете. Его не возмущал и не раздражал Никодимов. Он замечал даже в себе странное любопытство. Хотелось дальше слышать о его жизни.

Никодимов извинился, что задерживается. И действительно, вернулся, лишь проводив друга.

- Что же дальше было с Ягичем? - спросил Христофоров. Никодимов сел и помолчал.
- Ягича открыли, свои же, австрийские офицеры. Однажды, поздно ночью, они нас арестовали в одном... теплом месте. И привезли в отель. Ему дали револьвер, отвели в соседнюю комнату и предложили застрелиться. Был момент, когда они собирались разделаться и со мной - я был в штатском, как настоящая темная личность. Я тогда чудом уцелел. Но вообще мне не повезло. Наши тоже косо на меня взглянули.

Он хрустнул пальцами.

- Стали подозревать, что я же и выдал Ягича. Знаете, эта игра всегда двусмысленна... Одним словом, карьера моя прогорела. Я все-таки служу, но это безнадежно. Вы понимаете, на имени моем - пятно... вот что. Нет, вы не из нашей компании, вы из так называемых праведников,- прибавил он вдруг живо и резко.- Не поймете.

- Я не знаю,- тихо ответил Христофоров,- из каких именно я. Но то, что вы мне рассказали, все понятно. Можно ведь все это понять и... ведя другую жизнь.

- Хотели сказать: и не будучи прохвостом! - Никодимов захохотал.

- Вы принимаете все очень болезненно,- с грустью ответил Христофоров.

Никодимов налил себе вина и выпил.

- Болезненно! Вздор! - бормотал он.- Ничего нет хорошего. Разве Юлий... Этого мальчика,- сказал он, указывая на комнату

394

ку юноши,- зовут Юлием. Я подарил ему перстень с головой Антиноя.

Через час он провожал гостя. Довел его до лифта и простился. Уже входя в каюту, Христофоров заметил, как содрогнулся Никодимов при виде этой машины.

В десять Никодимов поехал в клуб. Там он играл с ушастыми игроками, с седыми дамами в наколках, с содержанками; еще пил, погружаясь в карточный туман. Так было в этот вечер, и в следующий, и еще в следующий. Выигрыш не приходил. Антиной кис. Он развлекал, все же, Никодимова. Но тоска не унималась. Проходя ночью по пустынным переулкам, Никодимов думал, что его жизнь, с самой ранней юности, была чем-то непоправимо испорчена, и теперь, чем далее, тем труднее ее влечь. Пустые дни, пустые действия, мелкие выигрыши, мелкие проигрыши чередовались утомительно. "Все это вздор, все гадость,- думал он.- Как скучно!"

Приступы беспредметной, леденящей тоски бывали столь острь, что опять вспоминал он о Вене, туманном утре, когда в закрытом автомобиле везли их австрийские офицеры, о комнате отеля, где он ждал судьбы, о глухом выстреле за стеной. Может, было бы лучше...

В одну из таких ночей, подойдя к подъезду своего дома, он думал об Анне Дмитриевне, и усмехнулся. "Добрые души, добрые души, спасительницы, женщины". Он машинально вошел, машинально побрел к лифту. Зеленоватый сумрак был в вестибюле. Уже подойдя к самой двери, он на мгновение остановился, охнул. Рядом, улыбаясь, сняв кепи, стоял знакомый швейцар из Вены и приглашал войти. Никодимов бросился вперед. С порога, сразу он упал в яму, глубину в полроста. Дверца лифта не была заперта. Он очень ушиб ногу, вскрикнул, попытался встать, но было темно и тесно. Сзади в ужасе закричал кто-то. Сверху, плавно, слегка погромыхивая, спускался лифт. Никодимов собрал все силы, вскочил, до груди высунулся из люка.

Его отчаянный вопль не был уже криком человека.

XVII

Несколько времени после того, как навестила Христофорова, Машура провела очень замкнуто. Видеть никого не хотелось. Она сидела у себя наверху и разыгрывала Баха, Генделя. На дворе шел снег, бродили куры, кучер запрягал санки, а Машуре казалось, что со своей сонатой lit.- min' она отделена от всего мира тонкой, но надежной стенкой.

До минор (итал.).

Перед маскарадом заезжала Анна Дмитриевна и звала ее. Машура отказалась. Наталья Григорьевна это одобрила. Машуру считала она безупречной и потому именно не сочувствовала выезду на фривольный бал художников. Она советовала ей лучше-читать Стендэля. Сама же, среди многих своих домашних дел, заканчивала реферат для Литературного Общества.

Общество собиралось на Спиридоновке, в доме графини Д. Оно было старинно и знаменито. Некогда читались там стихи юноши Пушкина; выступал Лев Толстой и Тургенев. В новое же время - обязательный этап жизни литератора - в некоторый вечер, в низкой, темноватой зале, среди белых стариков и важных дам, приват-доцентов, скромных барышень, студентов - прочесть новейшее свое творение.

Для Натальи Григорьевны этот экзамен прошел давно. Но к выступлению отнеслась она серьезно, много обдумывала и обрабатывала, не желая ударить лицом в грязь пред почтенными слушателями.

Туда Машура не могла не поехать. Мать несколько волновалась. Даже румянец показался на старческих щеках: в черном шелковом платье, с чудесной камеей-брошью, в очках и седоватых локонах, Наталья Григорьевна была внушительна. Как только кучер подвез их и они вышли, сразу почувствовалось, что всеочно, по-настоящему, что для дел Общества именно нужна Наталья Григорьевна со своей солидностью, образованностью и умеренными взглядами. Это не высокочка. Она читала ровным, несколько монотонным голосом, но культурно, то есть так, что в зале веяло серьезностью, едва ли переходящей в скуку, и если переходящей, то лишь для очень молодых. Люди же зрелые- их было большинство - сидели в сознании, что об истинно литературных вещах с ними беседует истинно литературный человек.

Машура тоже покорно слушала. Вернее, мамины слова входили в ее душу и выходили так же легко, как выдыхается воздух. Глядя на свои тонкие, очень выхоленные руки, сложенные на коленях, Машура почему-то подумала, что мама хорошо, все-таки, ее воспитала. В сущности, что дурного в том, что она была у Христофорова, а вот теперь она считает уж себя виновной, выдерживает некую епитимью. Мать говорила о поэме "Цыгане", а Машуре стало вдруг так грустно и жаль себя, что на глазах выступили слезы.

Когда Наталья Григорьевна кончила, ей аплодировали не больше и не меньше, чем следовало. Седой профессор, которого Ретизанов назвал дубом, подошел и поцеловал ручку. Наталья Григорьевна пригласила его в среду на блины. Покончив с текущими делами, члены Общества стали разъезжаться так же чинно, как и съезжались. Машура с матерью села в санки с высокой спинкой и покатила по Поварской.

Дома она обняла мать и сказала:

- Милая мама, ты очень хорошо читала.

Наталья Григорьевна была смущенно довольна.

Там у меня, сказала она, сняв очки и протирая их,- было одно место недостаточно отделанное.

Машура засмеялась.

- Ах ты мой Анатоль Франс!

Она обняла ее и засмеялась. Опять на глазах у нее блеснули слезы.

- Антон у нас очень долго не был,- сказала Наталья Григорьевна.-Что такое? Эти вечные qui pro qui' между вами! Вы, как культурные люди, должны бы уже это кончить.

- Мамочка, не говори! - сказала Машура, всхлипнув, обняла ее и положила голову на плечо.- Я ничего сама не знаю, может быть, правда, я во всем виновата.

Но тут Наталья Григорьевна совсем не согласилась. В чем это Машура может быть виновата? Нет, так нельзя. Если уж кто виноват, то - Антон. Нельзя быть таким самолюбивым и бешено

ревнивым. Человек культурный должен верить близкому существу, давать известный простор. У нас не восток, чтобы запирать женщин.

И она решила, что завтра же позовет Антона, обязательно, на эти блины.

- Если он хочет,- сказала Машура,- может сам прийти.

- Оставь, пожалуйста. Это все - нервы. И на другой день, как предполагала, Наталья Григорьевна отправила к нему девушку Полю с запиской.

Кроме истории, социологии профессор любил и блины. Наталья Григорьевна знала его давно, хорошо помнила, что блины должны быть со снетками. С утра в среду человек ходил в Охотный, и к часу на отдельных сковородках шипели профессорские блины, с припеченными снетками.

Профессор приехал немного раньше и, слегка разглаживая серебряную шевелюру, главную свою славу, сказал, что в Англии считается приличным опоздать на десять минут к обеду, но совершенно невозможным - явиться за десять минут до назначенного.

- Благодарю Бога, что я в Москве,- добавил он тем тоном, что все-таки все, что он делает,- хорошо.- В Англии меня сочли бы за обжору, которому не терпится с блинами.

Антон, напротив, поступил по-английски, хотя и не знал этого:

явился, когда профессор запивал рюмкой хереса в граненой, хрустальной рюмке первую серию блинов. Антон покраснел. Он думал, что опаздывать неудобно, и невнятно извинился. За столом был молчалив. Иногда беспричинно краснел и вздыхал. Машура тоже держалась сдержанно. Выглядела она несколько худее и бледнее обычного.

Затем заговорили о литературе. Профессор назвал возможных кандидатов в Академию. Хвалил научность и обоснован

Недоразумение (лат.).

397

ность реферата в Литературном Обществе. Наталья Григорьевна говорила, что сейчас ее интересуют те малоизвестные французские лирики XVII века, которых можно было считать запоздальми учениками Ронсара и которые несправедливо заглушиены ложноклассицизмом. В частности, она занимается Теофилом де Вио. Профессор съел еще блинов и одобрил.

После завтрака Машура позвала Антона наверх. Был теплый, полувесенний день. Навоз на дворе порыжел. В нем разбирались куры. С крыш капало. Легко, приветливо светел в Машуриной чистой комнате масленичный день.

Она довольно долго играла Антону сонату Баха. Он сидел в кресле, все молча, не совсем для нее понятный. Кончив, она свернула ноты и сказала:

- Я перед тобой во многом виновата. Если можешь, прости. Антон подпер голову руками.

- Прощать здесь не за что. Кто же виноват, что я не загадочный герой, а студент-математик, ничем еще не знаменитый... И никто не виноват, если я... если у меня...

Он взболновался, задохнулся и встал.

- Я не могу же тебя заставить,- говорил он через несколько минут, ломая крепкими пальцами какую-то коробочку,- не могу же заставить любить меня так, как хотел бы... И даже понимать

меня, таким, какой я есть. Ты же, все-таки, меня всего не знаешь или не хочешь знать.

Он опять горячился.

- Ты считаешь меня ничтожеством, я в твоих глазах влюбленный студент, которого приятно держать около себя...

Машура подошла к нему, положила руки на плечи и поцеловала в лоб.

- Милый,- сказала она,- я не считаю тебя ничтожеством. Ты это знаешь.

- Да, но все это не то, не так...- Антон опять сел, взял ее за руку.- Тут дело не в прощении...

Машура молчала и смотрела на него. Потом вдруг улыбнулась.

- У тебя страшно милый вихор,- сказала она, взялась за кольцо волос на его лбу и навила на палец.- Он у тебя всегда был, сколько тебя помню. И всегда придавал тебе серьезный, важный вид.

Антон поднял голову.

- Может быть. я не умею причесываться...

- Нет, и не надо. Так гораздо лучше. Наши девчонки, гимназистки, очень уважали тебя именно за голову. Ты так Сократом назывался.

Антон улыбнулся.

- Сократ был лысым, а ты говоришь, вихор...

- Это ничего не значит. Тебе и не надо быть лысым.

Она подала ему зеркальце, он посмотрелся. Машура зашла

33Д

сзади кресла, засмеялась, схватила его за уши и стала слегка раскачивать голову.

- Говорят, что женщины - кокетки, а по-моему, у вас,

мужчин, кокетства даже больше, только как-то это не считается. Антон стал защищаться, но несколько сконфузился. Машура же продолжала, что любовь любовью, но в каждом

есть, как она выразилась, шантеклер, петух, распускающий

хвост.

- Например, это безобразие,- продолжала она,- ты знаешь, маскарад, на который меня звала Анна Дмитриевна, кончился-таки дуэлью. Бедного Ретизанова подстрелили, и, конечно, из-за женщины.

Машуре вдруг стало почти весело. Был ли тут светлый, веселый день, или устала она тосковать, и брала в ней свое молодость, но захотелось даже подурить, покрываясь.

Она стала перед Антоном на колени и сказала:

- Ваше превосходительство, а ничего, что я навестила раненого Ретизанова? И опять обещалась еще зайти?

Антон засмеялся опять смущенно, но чем-то был доволен.

- Я знаю только одно,- сказал он, краснея,- что если нас ты укоряешь в шантеклерстве, то в вас, отродьях Евы, есть-таки нечто... от древнего Змия.

Через час Антон уходил от нее, взволнованный и смущенный, но по-радостному. Он не совсем отдавал себе отчет, и некая прежняя тяжесть сидела в нем, но этот день и в его мрачную жизнь внес как бы просвет. Ничего не было говорено всерьез, но вновь он уносил в душе обаяние Машуры, которая и мучила, и восхищала его столько времени.

Машура же ни о чем особенно не думала; разыгрывала своего Баха, ходила на заседания "Белого Голубя", и иногда, в теплые светлые дни по-детски радовалась весне, шагая где-нибудь по Никитскому бульвару, мимо дома, где умер Гоголь. Все-таки прочности не было в ее душе.

В один из таких дней зашла она на Пречистенку, к Ретизанову.

Его здоровье то улучшалось, то ухудшалось, опасность прошла, но в общем он сильно изнемог. С его худого лица торчали седоватые усы; глаза казались еще больше.

- Вы очень добры,- сказал он, приподымаясь на постели.- Ха! Мне очень нравится, что вот вы взяли и пришли... во второй раз.

Машура поставила ему на стол букетик живых цветов.

- Мне хотелось взглянуть, как вы...

- И еще принесла цветов! Он улыбнулся, взял и понюхал.

- Этой зимой я посыпал много цветов в Петербург, Елизавете Андреевне, Ха! Она меня отдарила, когда я вот так... захворал. Но последнее время редко стала заходить.

- Да ведь она...- Машура чуть было не договорила - "уезжает", но вовремя остановилась. Как раз неделю назад, на собрании "Белого Голубя", она прощалась надолго, сказала, что едет за границу. Машура знала даже с кем. Она слегка вздохнула и сказала:

- Вероятно, очень занята.

Ретизанов оживился и стал рассказывать о ее танцах. По его мнению, из нее выйдет великий художник. Ритм и божественная легкость составляют основу ее существа. Другие ходят, говорят, смеются - в ней же присутствует богиня, и лишь острый взгляд посвященного может понять всю ее прелесть. Грубых людей, как Никодимова. такие существа раздражают. Потому он и вел себя с ней так в маскараде.

- В Елизавете Андреевне,- говорил Ретизанов,- необыкновенно чисто проявилась стихия женственного. Голубоватое эфирное вещество, полное легкости и света.

- Голубая звезда,- сказала Машура и вдруг покраснела.

- Что? - вскрикнул Ретизанов.- Как вы сказали? Машура повторила.

- Голубая звезда!-произнес он в изумлении.--Нет, позвольте... в каком смысле?

- Можно думать,- запинаясь ответила Машура - что одна звезда... она называется Вега и светит голубоватым светом... ну, одним словом, что образ этой Веги есть образ женщины... в высшем смысле. И что, обратно в некоторых женщинах есть отголосок ее света...

Ретизанов слушал с возрастающим изумлением.

- Позвольте,- закричал он.- Это не женские мысли! Это говорил мужчина.

Машура покраснела.

- Даже если б и так.

- Вам это говорил мужчина?

- Да,- ответила Машура уже сдержаннее,- один знакомый разывал мне эту теорию.

Ретизанов несколько минут молчал, потом вскрикнул:

- Христофоров! Это он! Ах, черт возьми, он предвосхитил мои мысли.

Когда Машура вышла от него, был прозрачный, стеклянно-розовеющий вечер. Бледно-золотистая Венера сопровождала ее путь по бульвару, плывя над домами, цепляясь за голые ветки деревьев. Машура глядела на нее и думала, что это тоже звезда любви, быть может, таинственная устроительница сердечных дел. Быть может, и ее, Машуры, земная судьба связана с велениями неведомых, дивных богов.

Ретизанов же после ухода Машуры долго не мог успокоиться. Мысль о голубой звезде волновала и радowała его. Наконец, он накинул халат и слабый, слегка еще задыхаясь, с кружящейся головой пробрел в кабинет. Там опять подошел к занавеске, раздвинул ее и, закрыв глаза, отдался общению с гениями. Он стоял так довольно долго, блаженно улыбаясь. Затем медленно возвратился к себе.

В то время как звезда его укладывала чемоданы, чтобы начать светлое и бездумное странствие, гении дали радостнейшие ответы. Ретизанов лежа бормотал что-то, мечтал, и его душа была полна счастья и надежды.

XVIII

Постом Машура говела, слушала изумительные мефимоны, которые читал священник в черной ризе с серебряными цветами, канон Андрея Критского. Исповедовала нехитрые свои грехи под душной епитрахилью о. Симона, невысокого, немолодого и строгого священника с большой головой и седоватыми волосами. Со смутным, мистическим волнением причащалась.

Дома все шло как-то само собой. Как бывало и раньше, к ним приходил Антон. Как и прежде, косился он и фыркал на солидность Натальи Григорьевны, с Машурой бывал то нежен, то дерзок. Иногда, глядя на него, она думала: "Если я выйду за него замуж, он станет вытворять невероятные вещи, и с ним не очень будет легко. Может быть, именно так и должно случиться".

Наталья Григорьевна не была поклонницей страстных романов, страстных браков.

- Жизнь в браке,- говорила она,- это совместное творчество того общения, которое называется семьей. Семья же есть ячейка культуры, заметь себе это,- она целовала Машуру в лоб,- ячейка культуры, то есть порядка.

Машура улыбалась.

- Ах, мама, когда мне будет шестьдесят, то, наверно, и я буду интересоваться культурой, ячейками и порядком.

Она вздохнула ч не стала более распространяться. За дни весны, которая в этом году была прекрасна, Машура много ходила по Москве, по бульварам. Думала она о себе, своей жизни.

Теперь не было уже у нее ощущения вины перед Антоном, того двойственного и странного, в чем жила она почти целый :"од. Не было к нему и никаких дурных чувств. Она его знала, знала насквозь, и иногда он казался ей очень мил, как очень свой, давно родной человек. "Ну и что же, и это все? -думала она с улыбкой.- Брак есть совместное творчество общения, называемого семьей?" Ей стало почти смешно и почт" горько. "Ячейка культуры, порядка! Нет, это все чего-то не то, не так... Недаром и АНТОН это чувствует". Она вспомнила опять свое вечернее посещение Христофорова, ТО! садик, луну. вечер, и ее сердце забилось волнением и истомой. В горле остановилась горькая спазма. Слезы выступили на глазах. "Нет,- через силу, как бы запинаясь, сказала она себе,- если нет, если этого нет, то и ничего не надо. Иначе ложь". "Ложь, ложь,- твердила она позже, уже подхва

401

к своему дому и слегка задыхаясь.- И не надо скрываться, называть это жалкими словами". Раздевшись, она быстро прошла в кабинет Натальи Григорьевны. Та сидела за письменным столом, в очках, и старческой, бледной рукой с голубыми жилами писала ответ по детским приютам, где состояла в комитете. Весеннее солнце золотистым ковром легко по креслу, углу стола, пестрому леопарду в ногах, блестело в золотом тиснении переплетов в шкафах. Машура обняла мать сзади, поцеловала около уха.

- Мама, я сейчас почувствовала одну вещь и должна тебе сказать.

Наталья Григорьевна отложила перо. взглянула на нее, сняла очки. Она видела, что Машура возбуждена. Ее остроугольное лицо было насыщено какой-то нервной дрожью.

- Ну, ну, говори.

Машура было начала, горячо и спутанно, что она виновата перед Антоном в том, что долго держала его около себя, и почему-то вышло, что они стали считаться женихом и невестой, но на самом деле это ошибка.

Тут она заплакала, обняла Наталью Григорьевну и, всхлипывая, сидя на ручке кресла, сквозь слезы бормотала, что надо все это выяснить, раз навсегда кончить, чтобы не мучить ни его, ни себя ложью...

Наталья Григорьевна изумилась. Не то чтобы очень она была на стороне Антона, но во всем этом ей не нравился беспорядок, то шумное и нервное, что вносила с собой Машура.

- Успокойся,- говорила она,- не плачь, и тогда можно будет обсудить положение.

Она дала ей валерьянки, и когда солнечная полоса несколько передвинулась, прямо поставила ей вопрос: любит ли она Антона? На что Машура ответила, что и любит, как товарища и друга детства, но не так... и вообще это не то... именно теперь она убедилась...

Тогда Наталья Григорьевна со свойственной ей твердостью и логикой спросила: не любит ли она другого? Машура было смутилась, но мгновенно овладела собой и ответила: нет.

Наталье Григорьевне показалось, что это не совсем так, но настаивать и выпытывать она не захотела. И в заключение сказала, что в таком важном и серьезном деле нельзя спешить.

- Не нервничай, не волнуйся,- говорила она,- если ты убедишься, что истинного чувства к Антону у тебя нет, то не силой же станут тебя за него выдавать. Все в твоих руках. Ты должна поступить прямо, честно. Но не опрометчиво, не поддаваясь минуте.

Слезы и разговор несколько облегчили Машуру. В сумерках она играла у себя наверху на пианино и думала, что пускай она и будет жить в этой светлой и чистой своей комнате, ни с кем не связанная, ровной и одинокой жизнью. "Если любовь,- говорила она себе,- то пусть

будет она так же прекрасна, как эти звуки.

томления гениев, и если надо, пусть не воплотится. Если же дано, я приму ее вся, до последнего изгиба".

В этот вечер Антон не пришел. Она просидела одна, рано легла спать и спала спокойно.

Следующий день был четверг Страстной недели, знаменитый день Двенадцати Евангелий, длинных служб, вечернего шествия с огоньками. Часа в три, в мягком опаловом свете дня, Машура вышла из дома по направлению к Кремлю. Шла она не к Двенадцати Евангелиям, а просто побродить, поглядеть Москву. Кремль был очень хорош. Тускло сияла позолота соборов, часы на Спасских воротах били мерно и музыкально. Золотоверхие башни казались влажными, над Замоскворечьем синела дымка весны; внизу, на Москва-реке, половодье; река бурно катила шоколадные воды. От памятника Александру II видела Машура внизу милую и ветхую церковь Константина и Елены, покривившуюся, осененную несколькими деревьями. Заходила в Архангельский собор, где под каменными надгробьями в медных оправах спят великие князья и цари, в мрачном полусвете; веет там седой и страшной стариной. И затем - уже совсем случайно, мимо Успенского собора, забрела в мироваренную палату, при церкви Двенадцати Апостолов. Был день того двухлетия, когда на всю Россию варят миро. Машура поднялась во второй этаж, взяла налево и оказалась в невысокой, светлой и обширной зале. По стенам стояли зрители, а в правом углу, на некотором подобии плиты, в серебряных вделанных чанах варился священный состав. Непрерывно шла служба. Дьяконы и священники в светлых ризах мешали серебряными ковшами. Худенький квартальный просил публику не наседать. Стоял теплый, необыкновенно дурманящий запах - редких масел, цветов, старинных благовоний. Диаконы, медленно чере- дуясь, подымали и опускали свои ложки. Кадили кадильницы. Свечи золотели. Непрерывный, однообразный голос читал у аналоя.

В Успенском соборе побыла она недолго. Смешанное чувство Италии и Византии, древней, домосковской Руси охватывало там еще сильнее. На паперти, под дивным порталом столкнулась она, выходя, с Анной Дмитриевной.

- Нам везет встречаться у святых мест,- сказала Анна Дмитриевна с улыбкой.- Помните, Звенигород?

Она сильно похудела, была одета в темном. Большие ее глаза глядели утомленно.

Они медленно пошли вместе через площадь.

- Господи,- сказала Машура,- я не могу вспомнить о Дмитрии Павловиче. Какая ужасная судьба... Она закрыла даже на мгновение глаза.

- Сегодня двадцатый день его смерти,- ответила Анна Дмитриевна.

Помолчав, она прибавила:

- В церкви, все-таки, мне легче.

Машура взяла ее за руку, крепко пожала.

Они посидели немного в галерее памятника Александру.

Начинало смеркаться. Сизая мгла спускалась на Замоскворечье. Белел еще Воспитательный дом, золотели купола в Кадашах.

- Его судьба,-сказала Анна Дмитриевна,-так же страшна, печальна и непонятна, как была и жизнь. Во всяком случае, это был очень несчастный человек.

Машура вернулась домой в особенном, несколько приподнятом настроении. Она застала Антона. С ним держалась просто и добро, но самой ей казалось, что тонкая, как бы прозрачная и прочная стенка выросла между ними. "Может быть,- думала она, ложась спать,- это ушло мое отрочество, домашние, простые, детские чувства?"

В субботу в их доме усиленно готовились к празднику. Чистили, мыли. Машура сама красила яйца, готовила пасху. Знаменитый окорок одевали в бумажные кружева. В духовке сидели золотые куличи. Все это напоминало детство и имело свою особенную прелесть.

Как и раньше бывало, к вечеру пришел Антон - обычно они ходили с ним в Кремль слушать заутреню, смотреть иллюминацию, дышать тем удивительным воздухом, которым в эту ночь бывает полна Москва. Они отправились и теперь. Машура шла с ним под руку, но в Кремль они не попали, а часов с одиннадцати стали бродить по Москве, от церкви к церкви. В тихой, чуть туманной ночи видели они рубиновые в иллюминациях очерки колоколен, сияющие кресты; на папертях и в церковных двориках, иногда под деревьями, расставленные для освящения куличи и пасхи. По улицам непрерывно шли. Слышался негромкий говор. Иногда рысаки неслись, ехали кареты. Все было сдержанно, торжественно, тьма и золото огней господствовали над городом. Приближалась величественная и прекрасная минута.

Ровно в двенадцать в Кремле ударили - густым, гулким тоном. Неторопливо и радостно завторили все знаменитые сорок сороков. Тотчас двинулись крестные ходы, золотые стяги Спасителя поднялись во тьме ночи: на мгновение все снова стали братьями.

"Христос воскрес!" - "Воистину воскрес!"

Машура похристосовалась с Антоном, нежно и дружески. Слезы выступили у ней на глазах. Ее душа опять открылась на мгновение, вспомнились годы верной любви Антона, его сумрачной, нелегкой жизни.

Она перевела дух и отвернулась. Да, но не надо медлить, не надо тянуть и запутывать!

Она несла домой зажженную свечу, слегка прикрывая ее ладонью, казавшейся в свете прозрачно-розовой. Тысяча людей так же шли. и весь город был полон весеннего тумана; сверху светили звезды, а внизу растекались по переулкам золотые огоньки. Машура загадала, что, если до дому свеча не потухнет, все будет правильно, как надо.

Ночь была очень тиха.

Свеча не погасла.

Наталья Григорьевна встречала Пасху в церкви своего приюта. Она вернулась позже, очень парадная, в орденах и бриллиантах. Была ровна, покойна, на ее культурных чертах великий праздник не начертал своего духовного волнения.

На другой же день, когда вся Москва заливалась дружным, светло-радостным звоном, когда катили лихачи с визитерами, по улицам брел и ехал расфранченный народ, Машура сидела у себя в мансарде и писала Антону. Она старалась собрать все силы души и ума, чтобы написать получше, ясней и тверже высказать то, что, как она полагала, сложилось в ней окончательно.

Подписавшись, встала. Из окна, уже раскрытоого, пахнуло на нее весной, апрелем, тополевыми почками. С необычайной ясностью она почувствовала, что теперь начинается для нее новое. Что именно - она не знала.

XIX

Конец апреля Христофоров проводил в имении Анны Дмитриевны, в средней полосе России.

Выдались две дивных недели, какие бывают иногда перед холодноватым и переменчивым маем.

С июня Христофоров получал работу в крупной библиотеке южного города.

Сейчас был доволен, что временно можно отдохнуть, пожить спокойно и собраться с мыслями. Зима во многом для него была необычайна. В своем роде, это была даже единственная зима. Бродя один по весенним, нежно-зеленоющим полям, он вспоминал ее, как нечто бурное, цветное, ворвавшееся в его жизнь. Он сам крутился в этом потоке, то как участник, то как зритель, и теперь, коснувшись привычной, тихой земли, чувствовал как бы некоторое головокружение. "Может быть, это и суeta, и возможно, я бывал не прав, все же..." Он недосказывал, но душой не отказывался от пестрого, быстро летящего карнавала бытия.

Анну Дмитриевну он жалел искренно. Но и в ней ему нравились некоторые, теперь сильнее выступавшие черты. Явно стала она покойнее, как-то сдержаннее. Несколько облегчилась, прояснила.

- С меня долго надо смыть, ах, как долго смыть прежнее,- сказала она раз.- Голубчик, мне оттого с вами легко, что вы не теперешний, древний человек...

Она засмеялась.

- Уж и сейчас похоже, что мы удалились с вами в пустыню, но это только первые шаги. Ах, иногда я мечтаю о настоящей Фиваиде, о жизни, в какой-то бла-аженном египетской пустыне, наедине с Богом. Еще неизвестно, еще неизвестно... Помните, наш разговор у Фанни, о богатстве. Не думайте... ваши слова очень запали мне тогда.

- Да,- сказал Христофоров.- Но и сам я не знаю, до какого предела идут эти слова. Уж никак я не за богатство... но и рабский, подневольный труд... это я тоже отвергаю.

Через минуту он прибавил:

- Человек не может представить себе времени, когда его не будет. Нельзя вообразить смерть, как засыпание или сон. которому нет пробуждения. В то же время трудно понять, чтобы здесь, на земле, мы могли вечно жить. Вот недавно, на днях.- продолжал он, и его голубые глаза расширились,- я испытал странное чувство. На минуту я ощущал себя блаженным и бессмертным духом, существующим вечно, здесь же, на земле. Жизнь как будто бы проносилась передо мной миражом, вечными сменами, и уходящих миражей мне не жаль было, а будущие - я знал, придут. Я забывал о прошлом и не думал о будущем. Быть может, такое состояние, со всегдашим ощущением света, то есть Бога, и есть райская жизнь, о которой говорит Библия.

Анна Дмитриевна усмехнулась.

- Да, уж тут отпадает богатство, бедность...

- Это человеческие слова,- сказал Христофоров,- мы считаемся с ними в нашей... ограниченной, все же, трехмерной жизни.

В один из тех нежно-голубых, очаровательных дней, когда кажется, что ангел Божий осенил мир, Христофоров получил письмо из Крыма, от Натальи Григорьевны. С Пасхи жила она там с Машурой. Она сообщила, что Машуре юг очень полезен, что они одни тут, Антон остался в Москве и вряд ли вообще приедет. "Должна добавить,- писала она,- еще одну печальную новость. На днях умер здесь Александр Сергеевич Ретизанов, простудившись, как это ни странно Вам покажется,- в благословенной Тавриде. Машура была очень подавлена. Она ходила к нему. Из ее слов я поняла, что кроме болезни на него подействовало еще известие

об одной танцовщице, Лабунской, которую, видимо, он любил. Лабунская только что уехала за границу с каким-то англичанином".

- Покойный Дмитрий Павлыч,- сказал Анне Дмитриевне Христофоров, назвал раз Ретизанова - дон Алонзо-Кихада дель Ретизанов. И выходит, что отчасти он прав. В общем же, судьбы их и разны, и одинаковы.

- Умер Ретизанов... - Анна Дмитриевна задумалась.- Это тоже был несовременный человек.

Вечером этого дня Христофоров, в своем потертом пиджачке и мягкой, видавшей виды шляпе, вышел из усадьбы. Глаза его были несколько расширены; и голубизна апрельского дня удваивалась в их природной голубизне. Из фруктового сада, где на яблонях наливались почки, он спустился в овражек; там стояли белые березы, уже одетые зеленоватым облаком. Дубы еще голы; кое-где на них темно-коричневая листва: вечерний ветерок звенел в ней слабо, таинственно. Сухие листья шуршали под ногой. Влагой и весенней прелью пахло у ручейка. Напоминая соловьев, стрекотали дрозды-пересмешники.

За овражком начиналось поле. Здесь по зеленям шныряли мышки. Белый лунь, их враг, низко и бесшумно плыл над землей.

Обернувшись назад, сквозь тонкую сеть полуголых деревьев увидел Христофоров дом Анны Дмитриевны и занимавшийся над ним золотисто-оранжевый закат. Этот закат, с нежно-пылающими краями облаков, показался ему милой и чудесной страной былого. Он шел дальше. Странное чувство истомы и как бы растворения, того полуబезумного состояния, которое иногда посещало его, овладело и теперь. Казалось, что не так легко отделить свое дыхание от плеска ручейка в овраге, ноги ступали по земле, как по самому себе, голубоватая мгла внизу, над речкой, была частью его же души - и он сам - в весенней зелени зеленей.

Он прошел так некоторое время и присел у межевой ямы, где кончалась земля Анны Дмитриевны. Несколько мышек высунулись из нор, проделанных под комками пахоты; повертели мордочками и сверкнули домой. Тихо, медленно летела на болото цапля. Было видно довольно далеко. Поля, лесочки и деревни, две белых колокольни, вновь поля, то бледно-зеленеющие, то лиловые. Весенняя пелена - слабых, чуть смутных испарений, все смягчающих, смывающих, как в акварели.

Христофоров лег на землю. Долго лежал так, опьяняясь вином, имени которого не знал. Сердце его билось нежностью и любовью, раздирающей грустью и нежностью. Голубая бездна была над ним, с каждой минутой синея и отчетливей показывая звезды. Закат гас. Вот разглядел уже он свою небесную водительницу, стоявшую невысоко, чуть сиявшую золотисто-голубоватым светом. Понемногу все небо наполнилось ее эфирной голубизной, сходящей и на землю. Это была голубая Дева. Она наполняла собою мир, проникала дыханием стебелек зеленей, атомы "воздуха. -Была близка и бесконечна, видима и неуловима. В сердце своем соединяла все облики земных любовей, все прелести и печали, все мгновенное, летучее - и вечное. В ее божественном лице была всегдашая надежда. И всегдашая безнадежность.

Когда Христофоров возвращался, ручей в овраге журчал той же смутностью и беспредельностью. Хоркая, тянул вальдшнеп. Рожок месяца, бледно-серебряный и тонкий, пересекался кружевом ветвей.